

Стенография конца века

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

1

Зачем люди ведут дневники? Единого ответа быть не может. Разные люди, разные дневники. Дневники интимные, затеянные иногда с детских лет, для памяти, для самоотчета, от одиночества, из потребности выговориться хотя бы на бумаге перед безответным собеседником, ставшие привычкой, едва ли не ритуальной. Дневники деловые, рабочие, записки натуралистов, естествоиспытателей, путешественников, отчеты о наблюдениях и самонаблюдениях, где личное уже не отделишь от профессионального, с попутными размышлениями, обобщениями, заметками о прочитанных книгах, газетных новостях или о погоде.

Для человека же, чей род занятий — писательство, размышления с пером в руке — поистине способ существования. Писательские дневники в этом смысле бывают особенно представительными. Тем более, что они чаще других становятся достоянием читающей публики. Речь не о сочинениях, специально предназначенных для публикации и лишь называющихся «Дневник», вроде знаменитого «Дневника писателя» Достоевского. Речь о дневниках настоящих, которые ведутся только для себя и таятся от посторонних глаз, даже от близких — столько в них откровенного и сокровенного; лишь такие дневники бывают действительно адекватны и полноценны. Хотя не такое простое дело выговорить все до конца даже перед самим собой. И как начнешь вникать: что значит до конца? и зачем? Писателей, кстати, особенно просто подловить на тайной — да чаще и не слишком прикрытой — надежде быть прочитанными; иначе с какой стати они даже в записях для себя привычно продолжают шлифовать форму и стиль, подыскивают слова? Ну, разве что по привычке.

Один из самых удивительных документов этого рода — дневники Льва Толстого. Вот уж где совмещено чуть ли не все: самонаблюдение, самоанализ, разбор прочитанных книг, философские, религиозные и иные размышления, рабочие записные книжки, в которых фиксируются, например, народные слова и выражения, а также события, детали пейзажа и прочее, временами с сознательной мыслью о литературном тексте, который мог бы и для других «составить приятное чтение» (запись от 22 октября 1853 г.). И особо — «Дневник помещика» 1857 года. Особо — «Записки христианина» 1881 года. Особо — «Тайный дневник» 1908 года. («Начинаю дневник для себя — тайный», — запись 2 июля). И опять особый «Дневник для одного себя» 1910 года («Начинаю новый дневник, настоящий дневник для одного себя», — запись 29 июля). Хотя, казалось бы, и прежние дневники были куда как откровенны, исповедальны, саморазоблачительны. Ибо для Толстого дневник всю жизнь был прежде всего инструментом самовоспитания, самосовершенствования — начиная с так называемого «Франклинова журнала» 1851 года, свода моральных пра-

вил, которым намечено было неукоснительно следовать. В желанной степени это никогда не удавалось, записи полны сетований на сей счет, самоосуждений, явно несправедливых.

«Что я такое? — спрашивает себя Толстой 7 июля 1854 года... — Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolerant) и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда... Я не выдержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти привычкой». И т. д. и т. п. Из дня в день, из года в год — все те же неллицеприятные, беспощадные наблюдения над собой, над каждым своим душевным движением. «Несносная забота. Праздность. Стыд» (16.07.1881). «Все так же мучительно борюсь, но плохо борюсь» (2.07.1908). «Мучительно тяжело испытание или расплата за любострастие» (4.07.1908). Выписывать можно наугад, раскрывая едва ли не на любой странице. Даже читать это бывает мучительно, порой неловко; хочется защитить писателя от самого себя. Такая ли уж здесь правда? Что такое вообще правда о человеке? Разве нельзя взглянуть на ту же самую жизнь иначе, найти в ней достойное иных оценок — и в этом тоже будет своя правда? Толстой как будто не бывает доволен собой, он как будто всю жизнь себя преодолевал, ничего себе не облегчая — может, потому он и стал Толстым? Год от году дневниковая исповедальность все больше обретает в его глазах религиозный, воспитательный, даже проповеднический смысл; потому он на склоне лет отказался от мысли уничтожить записи хотя бы времен грешной молодости и решил предать читательскому суду все, включая интимное и «несущественное» — отнюдь не из литературного тщеславия, наоборот: это и означало для него отбросить «заботу о славе людской». Беспощадность суда над собой должна была послужить другим в их нравственном самосовершенствовании.

Как ни мало был похож на Толстого Франц Кафка, беспощадностью взгляда на себя он может сравниться с ним. Хотя при этом его дневниковый самоанализ меньше всего связан с мыслью о какой-либо литературной или воспитательной задаче. Вот уж кто был далек от всякого проповедничества — ему бы с самим собой справиться; он и художественные свои произведения завещал, как известно, сжечь. Впрочем, человек, чувствующий себя писателем, совсем свободным от литературной мысли — пусть хоть где-то в глубине подсознания — возможно, и не бывает. Для самого Кафки всяческие дневники и записки недаром были всегда любимым и важнейшим чтением. В то же время среди его повседневных заметок немало и литературных набросков, зачаточных сюжетов (а также записанных снов, разговоров и пр.), которые потом обрабатывались и переносились в корпус художественных произведений; он просто не отделял собственно дневники от рабочих записных книжек.

Но звучание самих дневников определяет не это.

«Катастрофа. Невозможность спать, невозможность бодрствовать, невозможность переносить жизнь». «Опять беспокойство. Отчего оно возникает? От некоторых мыслей, которые потом быстро забываются, но беспокойство остается, и его помнишь». «Все было просто. Когда я еще был доволен, я хотел быть недовольным и загонял себя в недовольство всеми способами, какие давали мне время и традиции, потом хотел снова вернуться. То есть я был всегда недоволен, даже своим довольством»... Все это записи лишь нескольких дней января 1922 года. Мотивы, знакомые по творчеству Кафки — но неужели в самом деле именно они и только они определяли его собственную повседневную жизнь?

И тут пора оговорить одно существенное обстоятельство. Не раз уже было справедливо замечено, что дневники — при видимой адекватности — во многих случаях дают как раз искаженное представление о личности пишущего. Потому что в них заносится зачастую прежде всего то, что угнетает или смущает человека в данный момент. Смутные тревоги, сформулированные и проясненные словом, начинают казаться не столь серьезными, не столь гнетущими; слово помогает овладеть своим состоянием. Психическая самотерапия — одна из важных служб дневника. «Успокоение — это, пожалуй, основная причина, из-за которой я веду дневник, — свидетельствует Элиас Канетти. — Трудно поверить, как успокаивает и обуздывает человека написанная фраза».

«Дневники чаще всего напоминают прерывистую кривую барометра, который регистрирует лишь моменты самого низкого давления, а высокое не отмечает», — пишет Макс Брод по поводу дневников Кафки. Большинство записей делалось писателем именно в минуты отчаяния и тоски, усугубленной болезнью, когда все виделось в черном свете. Но Брод свидетельствует, что он знал и другого Кафку — веселого, остроумного, способного шутить и радоваться жизни; таким он отчасти предстает в некоторых путевых дневниках — обычных туристических заметках, с описанием памятников и пейзажных красот. Однако в минуты душевной уравновешенности он чаще всего за дневник не брался — в этом не было нужды.

Кто вел дневник ежедневно, с поистине бюргерской основательностью — так это Томас Манн. Едва ли не по пальцам можно перечислить пропуски, связанные чаще всего с поездками: в дорогу он с собой свои тетрадки не всегда брал, но все равно потом задним числом восполнял пробелы. Иные записи занимают по несколько страниц; их обстоятельность, даже скрупулезность способна озадачить. Здесь все: существенные события и бытовые мелочи, размышления, политические новости — и сведения о погоде, самочувствии, даже принятых лекарствах и их действии; заметки о ходе работы, о деловых и дружеских встречах, письмах, разговорах, газетных статьях — и дела семейные; впечатления о прочитанных книгах, о музыке, фильмах, спектаклях — и упоминания о покупке сигар, обеденном меню или сделанном педикюре. Порой Томас Манн сам говорил себе, что такая подробность лишена смысла, он не раз собирался переменить характер дневников и записывать только «существенное». Ничего из этого не получилось; очевидно, подобная обстоятельность удовлетворяла какую-то насущную психологическую потребность.

Это была, по словам самого Томаса Манна, потребность «запечатлеть уходящий день в его чувственных, а отчасти и духовных проявлениях, запечатлеть его содержание, не столько ради того, чтобы потом вспоминать это и перечитывать, сколько ради отчета, обобщения, осознания и обязывающего контроля» (11 февраля 1934 г.). Записи, делавшиеся обычно к концу дня, обретали характер некой медитации, вечерней «молитвы», по выражению самого писателя, помогали собраться, сосредоточиться.

И опять же — держал ли он при этом в уме специфично писательскую мысль когда-нибудь отдать эти записи — то есть самого себя! — на суд читателя? Отнюдь не всегда на этих страницах он предстал в наилучшем виде. Известно, как нервничал Томас Манн, когда в 1933 году все его ранние дневники оказались в руках гитлеровцев, какое необычайное облегчение испытал он, когда удалось их выручить. Надо полагать, слишком многое в этих записях можно было при желании использовать против него, к тому времени уже эмигранта, противника режима. Все эти ранние дневники (за исключением четырех тетрадей 1918—1921 года, понадобившихся, видимо, для работы

над романом «Доктор Фаустус»), Томас Манн в мае 1945 года собственноручно сжег во дворе своего калифорнийского дома. Но дневники 1933—1955 гг. завещал сохранить, с разрешением опубликовать спустя 20 лет после смерти.

Такое решение далось ему, видно, не сразу. «Зачем я пишу все это? — записывает Томас Манн 25 августа 1950 г. — Чтобы перед смертью своевременно все это уничтожить? Или я хочу, чтобы мир меня знал?» Предназначив свои дневники для опубликования без каких-либо поправок и изъятий, он сам ответил на этот вопрос. Еще не завершившаяся до сих пор публикация каждого очередного тома становится заметным литературным и общественным событием.^а

Есть дневники, которые даже в литературном смысле оказываются самым значительным из всего, созданного писателем. Элиас Канетти считал, что таковы дневники Чезаре Павезе «Ремесло жизни», опубликованные посмертно. «То непреходящее, что он создал, содержится именно здесь, а не в его художественных произведениях». Мне кажется, нечто подобное можно сказать и о дневниках Михаила Пришвина. Лесной старичок с двустволкой и ягдташем, деревенский отшельник, певец природы, знакомый нам еще по школьным хрестоматиям для начальных классов, он казался куда как отстраненным от потрясений века, от общественных и политических страстей: не совсем от мира всего. Лишь начавшие теперь появляться дневники Пришвина многое объясняют в этом отшельничестве и видимой отстраненности. Оно в известной степени было способом самосохранения, больше того — выживания. Потому что на самом деле Пришвин заинтересованно всматривался в свое время, пытался запечатлеть и осмыслить совершавшееся вокруг. Конечно, не было и речи о возможности что-либо подобное напечатать. Даже потайное ведение подобных записей было небезопасно по тем временам, когда никто не мог считать себя застрахованным от внезапного ареста и обыска, и надо полагать, в чем-то писатель себя и здесь на всякий случай сдерживал, не всему позволял излиться на бумагу. Однако и то, что оказалось записано, дает нам совершенно новое представление о Пришвине — вдумчивом и отнюдь не бесстрастном свидетеле небывалой, трагической эпохи. «Я главные силы своего писателя тратил на писание дневника», — заметил он сам однажды.

Да, ведение дневников в советское время — особая статья; тут трудно было отделаться от мысли, что в любой момент твои сокровенные записи могут попасть в руки читателя непредвиденного и нежеланного, превратиться в вещественное доказательство, свидетельские показания против любого, кто был на этих страницах неосторожно помянут. Какой тут разговор об интимности, о глубине откровенности!

2

Для меня было неожиданностью прочесть у Элиаса Канетти, что он в своих дневниках пользовался «видоизмененной стенографией, которую невозможно расшифровать, не посвящая этой работе неделю за неделей. Так я могу записывать все, что хочу, не вредя и не причиняя боли ни одному человеку, и, став наконец старым и умным, решить, уничтожу ли я дневник окончательно или спрячу в надежном месте, где его можно будет найти только случайно, в безопасном будущем».

У меня ведь то же самое! Более тридцати лет назад, отправившись надолго в больницу, я взял с собой самоучитель стенографии по особой системе одного

^а В настоящее время (2007) публикация «Дневников» Томаса Манна завершена. (Прим. *ImWerden*)

ростовского преподавателя, чтоб на досуге попрактиковаться — и с тех пор большинство повседневных записей делаю этими едва ли кому понятными закорючками. Кроме причин, упомянутых Канетти, кроме дополнительной, специфично советской опаски, они давали еще преимущество, для которого были, собственно, предназначены: скоропись. И при этом в значительной мере такой шифр избавлял от неизбежной все-таки оглядки, от лукавой задней мысли: а вдруг как это однажды вздумают напечатать — хорошо ли я буду выглядеть? Даже если вообразить, что у кого-то возникнет такое публикаторское желание — пусть попробуют разобрать.

Долгое время я делал записи на отдельных листках, подобно моему Милашевичу, иногда ставя даты, иногда опуская, не разделяя собственно дневник, записную книжку или рабочие заметки. Так было удобно при надобности изымать листки, понадобившиеся для других целей, то есть, прежде всего для работы. Ведь тут было то же, что у многих писателей: всевозможные наблюдения, зарисовки, детали, мелькнувшие мысли, литературные и прочие впечатления, словечки, разговоры, сны, анекдоты, а то и наброски сюжетов. Со временем я стал их разделять: для дневников как таковых завел специальные тетради, для разнообразных заметок — коробки вроде картотечных; там постепенно обозначались разделы. Из этих записей отчасти возникла уже целая книга «Способ существования», что-то оказалось использовано в прозе, в статьях. Однажды мне показалось целесообразным вести специальные дневники очередной начатой работы: они помогали не упускать из виду первоначальный замысел и проследить, как он видоизменялся — интересно и полезно бывало к ним иногда возвращаться, перечитывать.

Интересно — порой сверх ожиданий — оказывалось перечитывать и сам дневник. Случалось ведь и к нему возвращаться для рабочих целей: когда я начинал, например, писать воспоминания об умерших друзьях. Я листал в поисках нужного испещренные густыми значками страницы — и, признаюсь, увлекался, зачитывался. Я, оказывается, столько забыл, в том числе самого себя давнишнего. Память — в слишком большой мере инструмент самосохранения, чтобы быть вполне достоверной — собственные записи выдают тебя с головой тебе же самому. Я уже писал об этом по другому поводу: со временем забываешь, например, насколько ты когда-то был глуп, хотя никогда себе таковым не казался. То, что представлялось в свое время откровением, личной находкой, оказывалось теперь общим местом, давно всему миру известным. Но при всем том: тебе случалось встречаться в самом деле с замечательными людьми, иногда записывать их слова. Ты был свидетелем событий, которые уже вошли в историю. Да что бы ты ни видел, ни пережил — ты видел это не так, как любой другой, и осмысливал по-своему.

Разве мне самому не интересны дневники чужих, не обязательно даже знаменитых людей? Работая над историческими повествованиями, я разыскивал любые свидетельства об ушедшем времени и предпочитал как раз самые простые, житейские — они бывают особенно ценными. А как я люблю и сейчас раскрыть, например, дневник Томаса Манна на странице, обозначенной как раз сегодняшним днем, и сопоставлять со своим, и задумываться о разном... А иногда раскрываешь и собственный дневник на дате, совпадающей с сегодняшней — что изменилось за эти годы в тебе, в жизни, что осталось неизменным?

И вот я сижу в раздумье над уже необозримой грудой густо исписанных листков и тетрадей: что мне с ними все-таки делать? Или не делать ничего? Все-таки жалко, если это совсем исчезнет, как жалко бывает всякой бесследно ушедшей жизни. Просто расшифровать и перепечатать записи более чем за тридцать лет?

Даже представить не могу, сколько это потребует времени — тоже, наверное, надо считать на годы. Отобрать для расшифровки поначалу то, что может показаться интересным кому-то другому, гипотетическому читателю? Но вот тут как раз в самом деле сразу возникнет известное сомнение: купюры и редактирование открытых записей всегда чреватые самоцензурой, приукрашиванием, стилизацией; захочется, небось, пощадить себя, подретушировать слабости, предстать лучше и умней, чем ты был на самом деле...

Ну, во-первых, я ни перед кем не обязывался заниматься стриптизом. По многим причинам (о которых я рассуждал в другом месте) он не менее сомнителен, чем любая стилизация, и дает о человеке тоже отнюдь не адекватное представление. Во-вторых, признание в своих слабостях, в былой глупости (которую ты теперь вроде бы превзошел), по моим наблюдениям, не только не роняет пишущего, наоборот, делает его как-то ближе и симпатичнее любому читателю. По себе замечал: всегда ободряет и помогает собственному самоутверждению, когда узнаешь о чьих-то неудачах, сомнениях, об эпизодах постыдных; особенно утешительно и приятно бывает читать сетования и самообвинения знаменитостей, которые казались такими удачливыми, неуязвимыми. А уж прямо назвавший себя неудачником едва ли не обречен на умиленное сочувствие. Он как бы становится сразу ближе, понятней; более того — на него можно глядеть чуть свысока; мы все же так себя не называем. Мы ведь поневоле сравниваем с пишущим себя — и как важно удостовериться, что не нам одним бывает плохо, не мы одни испытывали постыдные минуты, у других бывало и похуже — вот как казнится, сердечный...

Может, этим и бывает особенно ценно чтение чужих дневников: оно помогает переносить собственные невзгоды и несовершенства. Если уж даже Лев Толстой... Или вот перечитываешь сейчас свои повторяющиеся из года в год сетования на невозможность напечататься, на безнадежность своего литературного положения, вплоть до мыслей, что ты можешь так и не дожить до публикации — сколько вокруг не доживало. Если это прочтет теперь кто-нибудь другой, который мучается тем же — может, это его дружески приободрит и поддержит: ничего, мол, видишь, не у тебя одного так бывало, и ведь обошлось как-то. Элиас Канетти рассказывает, как чтение дневников покончившего с собой Цезаре Павезе спасло его самого от самоубийства: он узнал там свое. «Вчера ночью, почувствовав себя униженным, как никогда, и мечтая о смерти, я ухватился за его дневники»...

Это дорогого стоит...

Или вот, скажем: с какой стати выдавать другим свои болезни? Такое всегда лучше оставлять при себе. Но как меня приободрило однажды, когда я прочел в чьих-то воспоминаниях, что у Александра Керенского была всего одна почка, а он дожил, помнится, до 89 лет, и при этом, по свидетельствам, не отказывался даже выпить. Я-то после пережитой в молодости операции не рассчитывал на долгую жизнь, тем более, что не особенно берегся, по части выпивки в том числе. Может, и это мое признание будет для кого-то поддержкой?..

Не знаю, как на самом деле все у меня пойдет и что из этого сложится. Попробую потихоньку, между прочими делами, воспроизводить свои давние записи — может, для начала не очень плотным пунктиром, но при надобности возвращаясь, дополняя, возвращая в дневники записи, выделенные когда-то на листочки. А иногда, может, наоборот, собирая записи вокруг темы или какого-либо человека. У меня, например, давно когда-то возник замысел сочинения о дорожных попутчиках — я даже написал на эту тему повесть, уничтоженную потом в числе многих про-

чих. Но, может, тут и сочинять не обязательно, просто собрать под одним заголовком записи разных лет о дорожных встречах и разговорах — интересно ведь бывало.

В конце концов, не может быть не интересной ничья жизнь, даже в самых повседневных своих проявлениях. Все зависит от способности взглянуть в нее, запечатлеть, осмыслить, найти слова.

Январь 1995

ПРЕДИСЛОВИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Написав более шести лет назад эссе «Дневник писателя», я стал на досуге заниматься расшифровкой своих дневниковых записей. Занятие оказалось медленным, трудоемким.

«Не знаю, насколько это может быть интересно для других, — записал я 31.8.1996 (опять же, разумеется, стенографически). — Понемногу сокращаю повседневность: политические новости, отставки (кто этих людей теперь помнит?), редакционные неурядицы, проблемы с зубами. Это не означает «спрямления» жизни; краткие упоминания на эти темы я оставляю. И просто скучно перепечатывать так много. Если потомкам будет интересно, разберутся»...

За пять лет удалось ввести в компьютер записи 1975—1999 гг. — как раз последней четверти века. Сокращены они оказались раз в пять, и все равно получилось 85 печатных листов. Всего, значит, было исписано листов 400, и нерасшифрованного осталось еще подстолько. Вот уж действительно — способ существования. Так, кстати, я назвал книгу эссе, скомпонованную тогда же в основном из разрозненных повседневных записей. В 1998 году она оказалась опубликована в издательстве «Новое литературное обозрение», и я убедился, что это все же может быть интересно.

Возникла теперь мысль о книге «Стенография конца века». Отбирая для нее записи, я решил ориентироваться на тематику преимущественно литературную. Заметки о прочитанном, встречи и разговоры с писателями, литературоведами, философами, культурологами, профессиональные размышления литератора. Эти размышления, конечно же, не могли не быть связаны с моей собственной работой тех лет. Как раз тогда писались книги «Провинциальная философия» (первоначальное название «Лизавин»), «Два Ивана» («Легенда»), «Линии судьбы, или сундучок Милашевича», «Учитель вранья» («Сказка»), «Сторож», «Голоса», «Возвращение ниоткуда» («Прозрачный туман»), «Времена жизни», «Приближение», «Amores novi». Записи из «рабочего» дневника не просто комментируют возникновение и развитие некоторых замыслов (психология литературного творчества — тоже тема небезынересная для филологов) — они напоминают об атмосфере времени, о событиях, подробностях, нередко уже забытых: о том, что в немалой степени определяло тогдашнее мироощущение, развитие мысли, звучание текстов.

Разговор о литературе невозможен без разговора о времени, о разнообразнейших проявлениях жизни. Проблема в том, что всего не вместишь. «Я чувствую, что эти записи совершенно не передают подлинного содержания каждого дня, — отме-

чал я 15.3.85: — перемены настроения от надежд к унынию в зависимости от того, как идет работа, лепет Леночки, которая подставляла льдины под струю воды из водосточной трубы и наблюдала, как вода пробивает во льду дырку, загадки, которыми она докучала мне, пока я печатал на машинке положенные мне три страницы перевода, ослепительное сияние луж, досаду, когда обнаружилось, что в холодильнике не осталось продуктов»... Тем более не передать этой полноты, когда приходится сокращать и сокращать еще больше. Я убирал едва ли не все, что касалось меня лично, семейной жизни, детей, родителей, убирал житейские зарисовки, встречи и разговоры внелитературные, путевые впечатления, хлопоты о заработке — многое. В иные годы записи делались ежедневно — оставлялась одна за месяц, а то и за два, за три. Какая тут «стенограмма конца века»? Скорее фрагменты, пунктир.

Но вот хотя бы пунктир таких повседневных впечатлений я все же постарался оставить. Литература не может возникать и существовать в стерилизованном, безвоздушном пространстве. Некоторые записи я решил, как и намечалось, выделить, сгруппировав вокруг заглавной темы — так возникли «Приложения к стенограмме».

Сентябрь, 2001

ИЗ КНИГИ «СТЕНОГРАФИЯ КОНЦА ВЕКА»

ПРЕДИСЛОВИЕ 2007 ГОДА

Книга «Стенография конца века» вышла в 2002 году в московском издательстве НЛО («Новое литературное обозрение»). Между другими делами я продолжаю расшифровывать и вводить в компьютер записи, прежде пропущенные по разным причинам, а также более ранние записи 1960—74гг. Опять, конечно, лишь выборочно. Тем не менее, понемногу складывается все более полная версия «Стенографии» за конец прошлого, а теперь уже и начало нового века — она ведь продолжается, пока жив пишущий. Время от времени в разных периодических изданиях публикуются фрагменты их этих дневников.

Не опубликованные прежде тексты предложила поместить у себя интернетовская библиотека «ImWerden», которой я выражаю свою искреннюю благодарность.

Июнь 2007

1960

7.10.60. Позавчера Миша М. позвал меня в Союз композиторов на прослушивание нового 8-го квартета Шостаковича.

Народу собралось множество. Миша сказал, что обычно на заседание секции приходит несколько человек. Шостакович сделал небольшое предисловие. Он волновался (странно видеть, что Шостакович волнуется, говоря о новом произведении). Сказал, что это произведение не программное, но о содержании его все же можно сказать. «Я посвящаю квартет жертвам фашизма. Не просто «посвящается», а

именно «я посвящаю». Когда квартет будет напечатан, не знаю, напишу ли я так, меня могут обвинить в ячестве, в индивидуализме. Но в своем кругу я хочу выразиться именно так. Здесь можно встретить темы из разных моих работ. Это глубоко личное произведение.

История его такова. В июне этого года я был в Дрездене, в связи со съемками фильма «Пять дней и пять ночей», к которому я пишу музыку. Его снимают Мосфильм и ДЕФА. Замысел возник под впечатлением поездки в Германию».

Квартет был исполнен два раза...

(Окончание записи потерялось. Помнится, перед самым концом квартета у первой скрипки порвалась струна, поэтому решили повторить второй раз — это было потрясающе. В «Способе существования» (с. 205-206) я пишу, как был на первом исполнении Четвертого квартета в 1962 г., его исполняли два раза. Это ошибка памяти, в записи я тогда не заглядывал. В дневнике дата проставлена на полях другими чернилами, некоторые другие даты пропущены. Вообще это был еще не совсем дневник — записи для памяти. Помимо всего, я забыл, что стенографией начал пользоваться не в 1962 г., после больницы, а уже в 1960, чередуя ее с обычными записями, иногда лишь вставляя стенографические значки — только начал учиться).

Дополнение 2: нашлась запись на листке без даты, сделана, видно, в том же году, позднее:

Миша о Шостаковиче. Шостакович — великий музыкант, но характер у него искалечен временем. Когда после постановления 48-го года у него в квартире погас свет, он бросился к телефону: «Скажите, а воду тоже отключат?»

А когда ему потом предложили вновь занять пост директора Ленинградской консерватории, он взял бланк, который его попросили заполнить, и пошел с ним в туалет.

Первое исполнение 8-го квартета. Он волновался, как начинающий. Квартет проиграли два раза, а потом встал некий Урбах и сказал: товарищи, я думаю, нет надобности обсуждать это замечательное произведение. Шостакович растерянно встал, попытался что-то возразить, но все уже встали, многие в недоумении. Некоторые говорили: правильно, есть музыка, о которой нельзя говорить словами.

Миша так объяснил мне: многие до сих пор не любят Шостаковича, но если будет открытое обсуждение, никто не посмеет выступить против. А тут, если выйдет еще одно постановление вроде 48-го года, они могут сказать: вот, нам не давали высказаться.

Миша с колоссальным трудом пробился на киностудию, потому что там предпочитают иметь дело с ограниченным числом лиц, которые отчисляют часть гонорара музыкальному редактору.

7.11.60. (Дата поставлена ориентировочно). НСО в консерватории. Новая оратория Седельникова. Его хвалили. Кто-то даже сказал: «В современной музыке ничего не сравнить с этим».

После обсуждения Миша [М.] и Роман [Л.].

— Это профессионально сделанная музыка, но это не то. Новая музыка должна быть глубже.

— Сейчас у музыки переходный период. Рождается что-то новое. А это, вероятно, будет сопровождаться понижением качества музыки.

— Это очень неутешительно — то, что ты говоришь. Я чувствую, что у меня ничего не получается. Так значит, и не получится?

— Видишь ли, я не стремлюсь к тому, чтобы войти в историю музыки, чтобы дети учили меня по хрестоматиям.

— Да и я об этом не думаю.

— Но почему ты все же пишешь? Во-первых, потому, что ты не писать не можешь. Мы с тобой обычные люди, мы привязаны к левой работе. Во-вторых, потому, что это тебе доставляет удовольствие. В третьих, потому, что ты считаешь свою работу мало-мальски нужной.

— Но это не успокаивает. Когда я пишу плохо и чувствую, что пишу плохо, меня не успокаивает то, что я не стремлюсь в историю.

— А я и не успокаиваю. Я просто констатирую факт. Может, я перейду на преподавательскую работу. Буду писать пьески для детей.

— Ну, если я не буду писать, я займусь теорией. У меня есть лазейка.

8.11.60. И. Т.: Картошка — яд. Я это обнаружил археологическим способом. Когда откапываешь погребение до 16-го века, (когда к нам завезли картофель) — народ там крупный, высокого роста. А после 16-го века люди в России начали мельчать.

15.11.60. На студии телевидения оператор Володя Ковнат разругал мой сценарий:

— «А вот и сам бригадир». Смешно! «Аппарат поднимается вверх» — это как поднимается? Наверно, ты хотел сказать: «Панорама вверх»?... Это плохо... Что ты выбрал за сюжет? Станки стоят некрасиво. Ударница коммунистического труда — некрасиво. Ничего оригинального не придумаешь. Учти: когда объект интересен, все работают с энтузиазмом. А сейчас я прошу осветителей поставить аппаратуру — они недовольны: не все ли равно, как снимать такой сюжет? Когда-то я начинал так же, как ты — внештатным автором. Мой первый сюжет был такой: человек, который спас 1036 жизней. Съемки проходили в сентябре, вода была холодная, ребята изображали тонущих, но мне показалось, что они тонут ненатурально. Я заставил их прыгать в воду второй раз. Они ругались, но прыгали. Зато какой получился сюжет! Ведь сейчас мы халтурим. Обычно хроника целый день только выбирает, как расставить свет, а на другой день переставляют все заново. А мы все съемки кончили за полдня.

Я был очень доволен, что меня так ругают. Значит, не все равно, что снимать, он болеет за дело...

17.11.60. На заводе «Каучук» начальник цеха раньше читал лекции по политэкономии в институте усовершенствования врачей. Решил перейти на завод. «Мне здесь просто интересно»...

Рабочий, старик 90 лет. Всю жизнь проработал на заводе, и теперь часто приходит. Не признает никаких врачей. Если заболит, идет к прессу, где вулканизируют резину. Когда поднимают пресс, оттуда идут газы. Он залезает туда с головой поды-

шать этими газами, потом помоемся в баньке — и здоров. «Мне никаких Железноводсков не надо».

11.12.60. Шел разговор о Кедрограде. Илья [Габай] сказал: «Мне хочется туда поехать. Это очень приятно — то, что они делают. Вообще всякое подвижничество приятно».

Кто-то сказал о его стихах: «По твоим стихам кажется, что ты готов кого-то избить». А. ответил: «Ну что ты! Разве он способен кого-то избить? Это же чистый лирик». Илья ответил серьезно: «Ты попал в самую точку». И еще раз: «Ты попал в точку».

Пришел Толя просить у него брюки. Илья вытряхнул на пол медаль за освоение целинных земель.

1961

...6.61(? — год не проставлен, край страницы с числом оборван; возможно, это 62-й год, но я в июне был тогда в больнице). Сегодня Илья [Габай] рассказал, как проходила защита докторской диссертации Ф. Х. Власова. Вначале прочли биографию, потом попросил слова один молодой человек: «Я хочу дополнить биографию Ф. Х. Извините, что я буду читать. Стараниями Ф. Х. я отвык выступать перед большой аудиторией». Тут же выскочил А., сказал, что это никому не интересно, предложил лишить его слова. Ученый совет проголосовал и лишил его слова. Дальше начались сплошные разговоры вокруг да около. Все хвалили книжку, но в основном Леонова. Против никто не выступил. На кафедре против голосовали 6 человек: Терновский, Афанасьев и др. Власов вел себя совсем неприлично: подбегал к каждому, отводил в сторонку, шептался. В своем выступлении он сказал, что раньше сам не понимал Леонова, теперь стал понимать. (Илья громко бросил реплику: с тех пор, как ему дали Ленинскую премию).

Потом они узнали содержание письма, которое хотел огласить этот парень. Там говорилось, что Власов, когда он был директором МОПИ, без всякого нажима со стороны Берия, в 1938 году посадил любимца института доцента Розенфельда и 8 студентов. В 1951 году этих студентов освободили, двое из них пришли к Власову в кабинет, (он оставался директором). Он принял их очень радушно, назвал по имени и т.п., просил придти на другой день. На другой день, когда они пришли, их арестовали у него в кабинете. Один из этих ребят остался жив, он живет в Красноярске. Парень сам колебался: читать или не читать? Сестры его отговаривали: это все бесполезно. (Алик сказал: давай я прочту. Но это действительно бесполезно).

6 человек из 25 голосовали против, два бюллетеня оказались недействительны. Теперь Власов единственный на кафедре доктор наук. Вероятно, многим придется уйти.

И. М. сказал: «Хорошо, что Власов защитился. Это свой парень».

Рассказывали, что Власов принуждал к сожительству студенток, аспиранток. Давал им за это дипломы, ставил зачеты. Илья ужаснулся: «Но ведь он же толстый! Я бы на месте девушки ни за что не согласился!» Я состриг: «Посмотрим, что ты скажешь, когда тебе придется сдавать кандидатский экзамен».

...11.61. (число не проставлено; месяц и год, 1960, приписаны позднее на полях, но в тексте говорится о 1961).

В мастерской художника Неменского картина: два солдата, русский и немец, лежат на поле боя лицом друг к другу. Рыжий и очень молодой немецкий мальчишка уткнулся в землю лицом, сплющив губы.

— Ну, скажите, как вы это понимаете? — спросил Неменский.

Я не хотел распространяться. Лежат два солдата, вот и все.

— Это не просто солдаты, — сказал он, — это люди. Об этом мы забываем. Этот немец еще не враг, он не успел стать врагом.

— Такую картину можно писать в 61-м году.

— Они всегда нужны, — сказал Неменский.

Я рассказал о предисловии Хемингуэя к сборнику антивоенных рассказов (издан только на английском языке). Там Р. пишет, что нужно бороться после войны, но если война начнется, то нужно обязательно победить. (Это написано в 1952 г., в год корейской войны).

Неменский: Он не прав.

Я: Но во время войны нельзя думать: это враг, а этот еще не успел. Если жалеть, нельзя будет убивать. У Дейнеки «Сбитый асс» — это не человек. У Симона «Убей его». Во время войны нужно было именно это. Но в 61-м году можно и это. И очень нужно. Люди уже читали Ремарка и других, знают, как воевали немцы. Правда, в нашей литературе до сих пор нет сочувственного изображения врага.

Неменский: Когда мы пришли в Германию, Венгрию и Румынию, мы очень навредили себе тем, что не различали. Для нас немец — значит, враг. Это неправильно. Сейчас привыкают думать, что американцы враги. Их приучают то же думать о нас.

Мне картина очень понравилась. Но когда я рассказал о ней в институте, были споры. Доцент Петровский доказывал, что это пацифизм. Рано так думать о войне, когда идет дело Эйхмана.

На выставку картину не приняли.

— Мне нужно написать траурный марш, но с некоторым юмором.

— Это очень просто. Нужно только представить, что под этот марш будут хоронить тетю К.

Письмо сына тети Н., которого по приговору суда отправили в сумасшедший дом. Теперь его хотят выпустить, а мать не может его взять, ей не на что будет его кормить. Письмо почти без точек, одни запятые.

«Здравствуй, дорогой мой ..., целую вас всех крепко. Дорогая мама, почему ты молчишь, что с тобой случилось не заболела ли ты случайно, раз ты так долго не пишешь, у меня, как я тебе писал самочувствие отличное, просто не лежат без дела руки хочется работать, а разве тут наработаешься, когда на тебя смотрят как на (зачеркнуто: бандита) больного ты я думаю над тем думаешь что у тебя нет сердца а это оттого что ты боишься брать меня отсюда что я не буду работать, я тебе говорил что я не только хочу работать, что это от безделья человек сходит с ума, а я не такой уж человек, пишу тебе не будь бессердечной, когда матери думают что их сыновья не оправдывают доверие. Милая мама не будь такой каменной, так как я тебе писал что так хочу работать, а ты еще так без человекно обращаешься со мной что у тебя на душе я не знаю но думаю что я бы на твоём месте не колебался ни минуты. И взяла

бы меня отсюда. Что с тобой? ни молчи, умоляю тебя о то ты еще пишешь что я тебе пишу такие черствые письма. А как тут не писать когда ты не пишешь ни строчки что у тебя за душа когда ты не можешь даже передать мне передачку или деньгами. Ну умоляю если не прислать деньги то напиши мне письмо, умоляю, не будь такой бессердечной»...

1962

Попробую вести что-то вроде толстовских «мыслей на каждый день». Может быть, получится. Пусть это будут даже не всегда мои мысли.

Итак.

7.5.62. ...Сегодня я думал: если бы мне поставили условие: или твоя повесть будет напечатана, но болезнь закончится плохо, или ты полностью излечишься, но тебя никогда не напечатают. Что бы ты выбрал? И я заколебался.

8.5.62. В. сказала: есть люди с воспитанными чувствами и есть с невоспитанными. Это как у музыкантов. Музыкант не может слушать плохую музыку.

11.5.62. Читал № 3—4 журнала «На переломе», который издавался в Смоленске в 1942 г. изменниками. Я даже не ожидал, что такое большое значение в их пропаганде придавалось еврейскому вопросу. Коммунизм, советская власть — «жидовское» изобретение, «Сталин и его еврейская свора» и т. д. И аргументируется все это той исключительной ролью, которую играли евреи в революции и в последующей истории советского государства. «Смотрите: все важнейшие посты занимают евреи. Это воплощение их извечного стремления к мировому господству».

Возможно, это на некоторых действовало. Потому что действительно трудно объяснить, почему евреи сыграли такую роль во всех революционных партиях — роль, не пропорциональную их общей численности.

В этих журналах поражает смесь низкопробнейшей лжи с действительными фактами (которые только сейчас воспринимаются как повод). Грязные анекдоты о писателях (особенно о еврейских) и сообщение о том, что никакого Джамбула не существовало, а был русский поэт Константин Алтайский, не знавший даже казахского языка. Гнусные «детали» эксплуатации русского народа евреями — и страшный рассказ «160-й пикет» с безусловно документальными подробностями лагерной жизни.

Очевидно, в начале войны, после репрессий 1937—39 гг., а также коллективизации, отношение многих к советской власти было далеко не наилучшее. Многие ждали прихода немцев. И те сами себе напортили своей зверской (особенно национальной) политикой.

13.5.62. Я часто думал: дали бы мне месяц-другой свободный, чтобы можно было думать, я смог бы оформить свое мировоззрение, продумать множество интересных вещей. Оказалось, нет. Сейчас у меня много свободного времени, а голова пуста. Нужно быть среди людей, вариться в жизни, если хочешь выдумать что-то стоящее.

И еще одна полезная сторона в моей болезни: я становлюсь более внимательным к страданиям, избавляюсь от эгоизма счастливых людей.

Наверно, почти все думают, что им не так уж страшно умереть; больше всего тяготит, что это будет страшным ударом для мамы.

14.5.62. Сегодня упала великолепная береза. Ее очень испортили, когда брали сок, она вся была изранена. Но несколько дней назад она пышно зазеленела и казалась мне вполне здоровой. А когда упала, я увидел, что она внутри вся гнилая. Может быть, я похож на нее? Только кажусь здоровым? Фу, какая дешевая символика!... Но завтра мне идти к профессору.

17.5.62. Читаю «Фальшивомонетчиков» А. Жида. Наиболее ценны здесь афоризмы (свои и чужие). Но они, при всей своей кажущейся всеобъемлемости, очень ограничены. Очевидно, «всякая истина конкретна» (и даже это утверждение не может претендовать на категоричность). Например: «Изобилие и мир рождают трусость; мать отваги всегда суровость» (Шекспир). «Чувства к родственникам принадлежат к той области, которую лучше не разглядывать слишком внимательно». «Мои мысли всегда цвета моего платья». «Надо сделать выбор: либо любить женщин, либо изучать их, середины нет» (Шамфор). То же в известной мере относится к людям вообще. Может быть, поэтому я (а может, вообще писатель) не люблю достаточно сильно. «Неужели дорога блаженства может привести нас к пропасти?» «Всякий истинно любящий отбрасывает прочь искренность». «Ничто не может быть более отличным от меня, чем я сам». И т. д. Не следует придавать слишком большое значение афоризмам и их выработке.

18.5.62. Дело не в том, достоверен слух или недостоверен, а в том, что мы им ничуть не удивляемся, считаем возможным верить.

Вчера читал книгу Лидии Чуковской «Софья Петровна», о событиях 1937 — 38 гг. У нее самой муж пострадал в 39-м. Описывает она с огромной достоверностью в деталях. Указано, что книга написана в 1939 — 40, но что-то не верится. Если это так, то она гениальная женщина, потому что понимать суть вещей уже в те годы — удивительно. Вероятно, она домысливала уже сейчас.

Эрик К. сказал после чтения: «Когда я прочту такие вещи, мне очень хочется иметь оружие... Только вы поймите меня правильно... Мне очень хочется, чтобы у меня в кармане лежал револьвер... только вы меня правильно поймите».

Потом мы ехали в метро, разговаривали, и меня даже удивило, до чего мы идентично мыслим...

...5.—6.62. Из рассказов А. М. Левина. (Рассказы Аркадия Марковича Левина были записаны в Боткинской больнице, где я лежал вместе с ним в мае 1962 г., а потом, после короткого пребывания дома, меня оперировали 13.6.62 г. Кажется, записи эти были сделаны в мае. В «красной» тетради записи вообще почти не датированы; многие делались для какой-то повести, над которой я работал и которую потом уничтожил вместе с предыдущими. Воспроизвожу здесь только некоторые, определенно «больничные» записи, сделанные в разные дни).

Он был арестован в 37-м г. вместе с группой военных, хотя отношение к ним имел лишь косвенное. Муж его сестры, некто Яков Давидовский, комендант Кронштадтской крепости после подавления мятежа, был затем начальником штаба у Блюхера. И когда Блюхер с ним приезжали с Дальнего Востока в Москву, они часто собирались на его квартире, вместе с Корком, Якиром и др., там устраивали

попойки. (Они привозили корзины белого хлеба, что в те годы, при карточной системе, было роскошью).

«Я был на допросе вместе с Эйдеманом, председателем Осовиахима. У него были выбиты все зубы и разодрана щека. У меня тоже выбили зубы, — (он возбужденно вынул протезы, один за другим), — перебили барабанные перепонки. Да... все рассказать — вы не поверите».

Его спасло от расстрела только то, что он сошел с ума. По его словам, он ничего не подписал. Обвиняли его по всем пунктам 58-й статьи. Обвинение составлялось так: «Ф.И.О. обвиняется в том, что, происходя из мелкобуржуазной семьи и будучи членом контрреволюционной организации, он хотел убить Сталина», (или взорвать Кремль, или стрелять в демонстрацию) и т. п. Никаких доказательств, только «хотел». А то, что хотел, он подтверждал сам. «И попробуй не подтвердить, когда тебя допрашивают трое, и один кричит в ухо: «Сволочь!», а другой бьет, третий старается наступить на пальцы и раздавить их каблуком... Э, я не хочу рассказывать, какие способы применялись, вы не поверите. «Признаешься?» — «Нет». Раз! — выбивают зубы. «Признаешься?» Раз! — барабанную перепонку. От одного ужаса можно сойти с ума. Были такие, кто сразу раскалывались, чтобы избежать мучений. И в этом была своя логика. Но ведь, кроме того, что ты признаешься сам, ты должен выдать еще 20 своих сообщников, которых тебе назовут и которых ты в глаза не видел. Некоторые держались. Те, кто помоложе, сильнее. Так и умирали. Я тоже ничего не подписал. Был тогда здоровый, спортсмен... Возможно, это анекдот, но говорят, что после каждой подписи Зиновьева с Лубянки выезжали 20 машин.

Кто действительно держался до конца, так это поляки. Их всех сажали. Они ничего не подписывали, так и шли в могилу. Их я никогда не забуду. Вечное мое к ним уважение. Правда, они все были уже пожилые люди, профессиональные революционеры. О, вы не знаете, кто такие были профессиональные революционеры. Это нестигаемые люди, они прошли царскую ссылку, каторгу».

Он подтвердил мои слова о том, что вместо Бухарина и других на скамье подсудимых сидели двойники, артисты. «Неужели вы сомневаетесь? Они же выступали перед всем миром. Вы думаете, Томский будет говорить: я английский шпион? И вы думаете, это было так трудно организовать, найти двойников, гримеров? У всех были двойники. У Гитлера, поэтому он избежал столько покушений, у Сталина.

Я сидел в одной камере с Колосовским. Это эсер-максималист, святой человек, я его никогда не забуду. В 1912 г. он покушался на Николая II, переодетый в форму гвардейского офицера. Прошел через всю охрану, которая состояла из текинцев, но буквально за 15 метров от цели (он уже видел царя и его семью, которые пили чай в саду) его окликнули, и он не смог отозваться на пароль. Его сразу схватили, допрашивали. Он назвал себя вымышленной фамилией. Его пытали — он себя не назвал. Со всего Петербурга собрали филеров, сыщиков, дворников, провели его мимо них — никто его не опознал. Он был подпольщик, его не знали. То же в Москве. Наконец, его судили, приговорили к смерти, царь заменил ему смерть ссылкой в Уссурийский край. Оттуда он бежал в Японию, потом в Париж и после революции вернулся в Россию. Он сотрудничал с советской властью (как и все левые эсеры). Это был необыкновенный человек. Право же, вокруг его головы, как у Христа, сиял нимб. Как он говорил! Медленно, спокойно, уверенно. Его расстреляли.

Там было много больших людей. Я сидел сначала на Лубянке, потом в Бутырке... Со мной в камере сидел президент Белорусской Академии наук Горев,

председатель Госбанка Марьясин, писатель Стецкий, критик, а потом посол, кажется, в Латвии, Асмус и другие.

Что такое была камера в Бутырке, вы не представляете. Это была комната метров 24, и в ней набивалось до 200 человек. Мы стояли вот так, плечом к плечу, спали по очереди, на нарах и на полу. Ну, а что творилось с парашей, вы и представить не можете. Она переливалась через край, а опорожнялась в 6 утра, приходилось сдерживаться, вот откуда сейчас у многих камни в почках и пр... Но в камере, это было еще ничего, хуже, когда помещали в бокс. Знаете, что такое бокс? Это такая комната, в которой можно было только стоять. Постоишь так суток 10, обвиснешь...

Со мной сидел Черномордик, наш представитель в Коминтерне (Коминтерн весь арестовали)... Так у него из заднего прохода шла кровь. Его заставляли несколько дней сидеть на стуле... Был у нас в камере председатель Уфимской учредилки, дряхлый старик, он все время лежал на полу под нарами, уверял, что всех расстреляют прямо в камере. Один из заключенных, Н., был личным другом Ежова. Однажды в камеру вошел сам Николай Иванович Ежов, во френче, как у Сталина, с охраной. У Н. были перебиты руки и ноги, он не мог двигаться, но тут с огромным усилием вскинул свое тело, подполз к нему и со слезами на глазах стал кричать: «Николай, ты же знаешь, я ни в чем не виноват, ты же знаешь!» Ежов оттолкнул его сапогом и сказал: «Уберите эту мертвечину!»... Еще один знакомый Ежова стучал кулаками в стену и кричал: «Мерзавец! Сволочь! Я его убью!» Стецкий все время стоял у окна и пел тихо (он запел): «Ты меня не жди, моя красавица». Вообще-то у нас петь было запрещено. Но у нас были свои песни (он спел: «Ты моя родная, 58-я», «Летят чернокрылые автозаки»).

Помню одного старого рабочего, с усами, старый революционер, он пришел с допроса потрясенный. Его допрашивала женщина, и знаете, что она ему сказала? «Мы тебя туда загоним, где ты пизды не увидишь!» Он был потрясен. У него были раздавлены все пальцы, ему их оттаптывали. Но главное — это моральное унижение. Я уже твердо решил, что покончу с собой. К вашему сведению, в тюрьме существует 34 способа самоубийства, детально разработанных, например, самоудушение (заглаживание языка). Хотя это было не просто. Профессор Горев попытался покончить с собой: он с разбега бросился головой на радиатор. Разбил голову, но остался жив. Его расстреляли...

Однажды я не выдержал, схватил стул за спинку и швырнул в следователя. Меня обработали так, что я тогда и сошел с ума. Поместили сначала в больницу Бутырской тюрьмы, потом дело прекратили «за отсутствием состава преступления», выдали соответствующую бумажку... Жена меня устроила на Канатчикову дачу. Вышел оттуда, потом устроился на работу в одно учреждение. Меня не хотели брать, но начальник, умный старый партиец, сказал: «Под мою ответственность»...

В моем доме жил один крупный работник ГПУ, я его встречал на допросах. Увидел меня и схватился за голову: не может быть! Такого не может быть, оттуда никто не выходит... Он сейчас не работает в органах, перешел на какую-то работу в санинспекции, теперь на пенсии. Там мало осталось старых сотрудников, сменилось два-три состава. Но пенсии они получают большие, очень большие. Вот этого я не понимаю. За что? Ты натворил дел, так будь благодарен хотя бы за то, что тебя не расстреляли. Но повышенная пенсия! Я этого не понимал. И один мой знакомый мне объяснил: «Неужели ты не понимаешь? Их берегут, они еще понадобятся. Еще будут нужны заплечных дел мастера»... Это звери. Хотя я на них никакого зла не имею. Вы не поверите. У меня все отошло. Я понимаю, они были только пешки в страшной игре

А я только песчинка в грандиозной драме, которая постигла страну. Через одного меня прошли тысячи человек, ну, как здесь, в приемном покое. И какие это были люди! Что я! Это был интеллектуальный цвет страны. Профессора, писатели, старые большевики. Святые люди!.. Если бы не тюрьма, я не достоин был бы сидеть у таких людей в прихожей...

Я мог бы многое рассказать. Я веду дневник с 29-го года. А отдельные записи у меня с марта 1917». — «И вам удалось его хранить даже в эти годы?» — «Да. Пусть бы мне голову отрезали, я бы не сказал, где его храню. Правда, люди, у которых он хранится, могли бы сказать. Но никто не догадается про них. Это такие древние старики. А там много интересного, и никто этого не напишет. Из тюрьмы я вынес рубашку, на которой записал несколько сотен фамилий. Мне удалось пронести... Я сейчас много работаю. Надо успеть многое сделать. Если не я, то некому. Умирают уже те, кто все пережил. Да и кроме того, мне надо выполнить долг, завещание. Один товарищ, с которым я сидел, завещал мне тему рассказа. Называется он «Кого-нибудь». Я могу рассказать содержание, оно очень простое. (*Опускаю пересказ. История происходит во время гражданской войны, надо найти виновных в гибели людей, чекист приходит к выводу, что никто не виноват, «некого брать», начальник отвечает: как некого? Возьми кого-нибудь*). Человек, который завещал мне этот сюжет, сам был участником этих событий. Это представитель ВКП(б) в Коминтерне, его фамилия Черномордик... Я уже написал одну книгу «Из жизни контрразведки». Она была напечатана гектографическим способом в студенческом журнале и обошла всю страну. Всю страну, это я знаю»...

К современной политике он относится очень скептически... «Сталин был не дурак, он все резолюции о расстрелах заставлял подписывать всех членов Политбюро. У них у всех рыльце в пушку. Сейчас Хрущев делает вид, что он чуть ли не жертва Сталина, что он с ним боролся. Чушь!... Один мой знакомый выразился так: представь, что тебе в ресторане подают чудесное блюдо, на золоте и фарфоре; но у официантов проваленные носы и сифилитические язвы на руках. Ты станешь из этих рук брать хоть самую лучшую пищу?... Вы поняли мою мысль?... Хрущев очень умный человек и отличный организатор. Он недаром учился у Сталина, вертелся возле кухни. Поварята тоже кое-чему научились...»

Он работал когда-то в Оргбюро ЦК, в отделе организации труда, под руководством старой большевички Елены Федоровны Розмирович. Они изучали принципы организации производства; он участвовал в разработке правил, индексов, учета, документации и т. д., в организации Шарикоподшипникового завода, первой очереди Березниковского комбината...

«Что будет после Хрущева?... Самый реальный выход — диктатура. Помянете мои слова: Сталин начал расстреливать через 10 лет после прихода к власти... А потом наступит реакция со стороны народа. Я знаю, что в разных слоях зреют сильные грозды гнева... Я даже рад, что моих соплеменников нет в руководящих органах. Ни в одном обкоме, ни в одном исполкоме больше нет евреев. Так что если что-нибудь случится, то не будет опять вынут старый заржавленный русский меч...

Почему евреи так активно участвовали в революционном движении? По трем причинам. Во-первых, они экономически угнетались, во-вторых, угнетались политически и, в-третьих, национально. Этого уже достаточно. Почему они были теоретически сильны? Потому что они всю жизнь проводили по тюрьмам, ссылкам, каторгам. Что там делать, как не читать и не изучать науку? Почему они оказались у руководства? Потому что они прошли огромную школу тюрем, подпольной, конспира-

тивной борьбы. Быть революционером считалось доблестью. Когда у нас в городке ожидался погром, вся наша молодежь вооружилась: ножами, пистолетами. Они были готовы на смерть, на что угодно. И погрома так и не было. К тому же в этом была романтика. В 1920 году я попал в город Череповец. На город напала банда атамана Григорьева, перебила красных и устроила кровавый еврейский погром. Затем к городу подошел полк имени Троцкого и полк мадьяр, выбили атамана Григорьева. И я вступил в отряд ЧОН, был заместителем начальника части. Потом был в отряде по борьбе с бандитизмом. Моя сестра, белошвейка, была знаменитой революционеркой, социал-демократом, искровкой. Ее защищали на процессе Керенский и Зарудный. Она отсидела несколько лет в Варшавском рavelине. И все мои братья и сестры участвовали в революции. Нас было у отца 13 детей. Я участвовал в гражданской войне. Мой дед был рабочий, столяр-краснодеревщик. Мы жили в Витебске, в черте оседлости. Он много протестовал, добивался правды, сидел за это. Так что у нас это буквально в крови.

Наконец, у евреев было огромное стремление к культуре. Я до 14 лет не знал русского языка, но зато, когда начал читать, я сразу прочел всех русских писателей, Маркса, Чернышевского, Прудона, народников. Я за три года вырос на две головы. В школе я учил закон божий. И поп, когда кто-нибудь не мог просклонять чего либо по-старославянски, вызывал меня. Я всегда бойко склонял, поп меня хвалил, потом говорил нерадивому ученику: вот видишь, он еврей, и то знает лучше тебя. Хвалил, возносил до небес, потом заканчивал: а ты хуже еврея. Был у нас второй поп, я ухаживал за его дочкой, но женился потом на ее подруге. У меня жена русская. Меня потом отлучили от еврейства. Между прочим, жена была замечательная женщина. Она была военкомом (женщина!) отряда, который подавлял Кронштадтский мятеж, четыре раза проваливалась под лед. Теперь она не хочет этого вспоминать, не понимает, зачем все это делала»...

«В одно из воскресений 1952 г. я вместо того, чтобы отдыхать, как все мои соседи, позвонил в справочное бюро и узнал, какие курсы работают по воскресеньям. Мне сказали, что работают курсы пчеловодов и фотографов. Я записался на курсы пчеловодов. Сдал на отлично теорию и практику. Из всех курсантов только двое, я и еще один мой товарищ, входили к пчелам без сетки. Правда, вначале мы ходили опухшие, но потом это стало совсем безопасно. Через 8 месяцев я получил диплом, а еще через 2 месяца поступил на курсы фотографии. Там я тоже сдал на отлично теорию и практику. Делал я это с одной целью: я ждал, что мне придется перейти на нелегальное положение, как еврею. Вы же знаете, что вслед за процессом врачей должна была произойти гигантская провокация, выселение всех евреев из центров, а затем Сталин хотел довести войска до Ла-Манша. Общественным обвинителем должен был выступить Эренбург. И я готовился к тому, чтобы уехать, жить где-нибудь в уголке, с чужим паспортом, слегка изменив внешность. Жена у меня русская. Но этого делать не пришлось»...

Песня, которую мне напел А. М.

Летят чернокрылые автозаки
В московской ночной тишине,
Летят на Лубянскую площадь
К кровавым стенам МГБ

Везут в них любимых народом
И партии верных сынов,
Везут в них борцов за свободу,
За счастье, за дело отцов.

Пытают их в темных подвалах
И кровь их реками там льют,
Но Ленина знамя святое
Ежову они не дают.

Их жен и детей высылают,
Родителям жить не дают,
Но Ленина знамя святое
Ежову они не дают.

Припев:

Ты моя родная 58-я,
Вечная ты спутница моя.

Из анекдотов.

Когда кончился НЭП, нэпманов стали высылать из Москвы. Нэпман Канторович встревожился. Пошел к адвокату и тот ему дал совет. Он написал в ГПУ письмо: «Нэпман Канторович хочет бежать из Москвы, примите меры». На другой день его вызвали и взяли подписку о невыезде.

После сталинского указа 1947 г. о недоносительстве (беспрецедентного в мировой юридической практике) Канторович прислал в Москву телеграмму: «Вся Одесса ворует. Снимаю с себя ответственность».

Канторович решил кончить жизнь самоубийством, взошел на Эйфелеву башню, посмотрел вниз и сказал: «Об спрыгнуть не может быть речи, помогите сойти».

Поспорили, у кого лучше химия. Француз сказал: «У нас из воды делают духи. Не понравилось — плюнем, дунем, снова вода». Американец: «У нас из свиной делают сосиски (то же продолжение). Русский: «Что у вас! У нас: берем навоз, плюнем, дунем — министр. Не понравилось, плюнем, дунем, пять навоз».

...6.62. (приблизительную дату нетрудно уточнить). Сегодня врач из Шахт рассказал мне, что на Дону происходят кровавые события. Восстали казаки и шах-

теры. Волнения связаны с повышением цен на мясо и со снижением ставок горнякам. Уже три дня нет добычи угля. Ему сказали об этом перед операцией, сейчас он беспокоится за родных.

(Еще из больничных записей, без даты)

Коля. «Почему мне нельзя делать операцию?» — «Ты слабый». — «Ну и что? Дохлые кошки дольше живут. Знаешь, какие они живучие? Или гнилое дерево. Скрипит, скрипит, а стоит дольше всех».

«У тебя жена толстая?» — «А что?» — «Толстые добрые».

В 12 часов Коля попросил: «Поставь мне грелку. У меня ноги холодеют». В 4 часа он умер.

Г.: «Я уже думал: может, для таких лучше умереть? Ведь разве это жизнь? Это существование. Все его дразнили»...

Юра Братишка тяжело просыпался после наркоза. Стонал, скрежетал зубами, (как будто проводили ножом по зубьям расчески). Когда открывал глаза — взгляд мутный, желтый, невидящий. Дышал тяжело, как будто тонул. Очнулся: а, это ты, Марк. Попытался бодро улыбнуться — и опять в забытьи. (Потом рассказывал: вижу тебя, и тут же ты удаляешься, расплываешься). Часто-часто мотал головой, то и дело спрашивал: «Сколько минут до звонка из Небит-Дага?» — «Если позвонят, что передать?» — «Передай..., — и уже забыл, о чем говорил. — Передай привет всем живым». И опять ничего не слышит. От него сильно пахнет эфиром. И хотя он ничего не сознает, когда ему говоришь: открой рот и дыши глубже — он слушается. По вискам на подушку текут слезы, во рту пузырится слюна.

Потом спрашивал: я не кричал?

21.7.62. Делал записи в другой тетради, потому что лежал в больнице.

Вчера Миша рассказал мне о своей теории... Один из основных законов мира — закон равновесия. Он проявляется во всем: в химии, в физике... Искусство есть не что иное как проявление этого равновесия... Закон золотого сечения объясняет не только архитектуру, но и музыку. Например, так объясняется тоника: фа-ми-соль — это отношение золотого сечения (по числу колебаний струны). Это и есть основной тип равновесия в музыке, или устойчивость. Все интервалы в музыке совпадают довольно точно с основными типами равновесия по отношению к октаве: кварта, квинта и т. д. Малейшее отклонение дает диссонанс, большое отклонение дает новую пропорцию консонанса...

И т. д. и т. п. Мы шли по улице, разговаривали, и я подумал: если послушают со стороны, нас примут за сумасшедших: квинта, таблица Менделеева, субдоминанта, мировой закон кривизны — черт те что! Он сам испытывает колебания, наверно, общие для многих: а вдруг я занимаюсь химерами? Сколько хорошей музыки успел бы написать за то время, что потратил на эту теорию. Может быть, бросить? И терзания эти безнадежны, потому что бросить теорию он уже не в силах.

24.7.62. В «Лит. газете» стихи Евтушенко. Он пишет, что теперь все не так, как было раньше; теперь люди говорят обо всем смело, открыто, помнят о 37-м годе, но теперь наконец-то все правильно и т. д. Я читал и думал: или я такой неисправимый пессимист и вижу плохое там, где другим все кажется хорошо, или Евтушенко не

понимает сути? А может быть, и хуже: лжет самому себе или другим?... Илья Габай тоже считает, что стихи нечестные. Значит, дело не во мне...

С. В. вернулся из армии. Он служил в войсках ПВО в Заполярье, на Памире, в песках, в Душанбе. Запишу некоторые из его рассказов.

Он отвык платить за проезд и в метро рванулся через автомат, прорвался, но тут женщина-контролер подняла такой шум, что он даже удивился: в чем дело? А когда понял, еще больше удивился: неужели из-за пятака можно поднимать такой шум? Он спешил, поэтому положил прямо на автомат гривенник и убежал. До сих пор ему многое непривычно. Когда мать положила ему на стол вилку, он еле вспомнил, что нужно есть вилкой. Зачем? Ведь ложкой удобнее. Так же отвык он спать на подушке. Но зато он может заснуть в любое время, хоть сейчас: сел и заснул. В войсках ПВО сон — главная проблема, там редко приходится спать больше 2,5—3 часов. Армия, по его словам, здоровый организм, но все-таки мучит сознание, что эти 3—4 года ты никому не принес пользы. Ел, пил, ни за что не отвечал — время прошло почти даром. Чувствовал все время, что здесь не нужна твоя индивидуальность, наоборот, ее все время пытаются стереть. К сверхсрочникам так и относятся: дармоеды, просто не хотят работать. А тут им и питание, и жилье, и зарплата, и семья, и отпуск, работать почти не нужно, и они ни за что не отвечают: отвечают офицеры.

5.8.62. Наш котенок — само воплощение беззаботности и непосредственности... Ему кажется, что все в мире создано, чтобы его радовать. Играет с собственным хвостом, устраивает джунгли в саду, резвится целый день, сам себе выдумывает радости. И так же уверен, что все ему страшно рады, готовы с ним играть — вдруг кидается на твою руку, кусает, предлагает порезвиться. А если не хочешь — не обижается. Он вообще легко прощает обиды, потому что вы ему в сущности безразличны. Ляжет и начнет спокойно вылизывать себе пузо.

15.8.62. Вчера провожали Илью. Собрались у Визборов. Интересная у них комната. Большая, мебели почти нет, на огромной стене карта СССР с линиями маршрутов, по которым ходил и ездил Визбор. В одном углу — слаломные лыжи, в другом — пианино и виолончель с одной струной. На стенах рисунки гор, фотографии, детские рисунки (дочке два года), на полках книги, в основном по альпинизму и по вопросам космоса; тут же лежат камни, сухая морская звезда и т. п.

Было неплохо, но потом Валерик А. уговорил Илью читать стихи (до этого читал Юлик Ким). Тот начал читать, Юлик демонстративно его прерывал, играл на пианино, вставлял реплики. Им взаимно не нравились стихи друг друга, а сейчас вдобавок оба были пьяны. Стихи Ильи на слух и так плохо воспринимаются, а теперь вообще ничего не поняли, но Илья уже почему-то сам предлагал прочесть стихи, и после каждого чтения извинялся: «Я, конечно, очень плохо читаю. Я сам не очень большой поклонник своих стихов. Адочка, это очень непонятно? Я, конечно, не настаиваю»... А все деликатно отвечали: ну почему же, читай... Было, по-моему, очень неловко. А может быть, мне так показалось, потому что я был трезв.

Валерик говорил мне: «Я спорю и с Ильей, и с Юликом. Илья считает, что у Юлика стихи слишком легковесны, поверхностны и в общем-то неинтересны. Юлик считает, что стихи Габая слишком рассудочны и т.д. а мне нравится и тот, и другой». Валерик счастливый человек, он может и дружить со многими разными людьми, и нравятся ему разные вещи. Мне стихи Юлика совершенно не понравились, в его чтении особенно. (Владик и Леня сказали, что им тоже не понравилось)...

Визбор: «Нет, старик, Сахалинск неплохой город, это самый развитый город после Ростова на Дону и Куйбышева... Но зато какая слаломная трасса!»...

21.8.62. Вчера были на свадьбе у Алика Н. ... Многие из присутствовавших оказались сослуживцами Олиного отца, главы эстонского КГБ. Как выразился Валерик, «переодетые генералы». Алик однажды попал в их компанию, говорит: эти люди не только чужие мне, но и враждебные. Это тот слой советской бюрократии, который создавался у нас много лет, люди, как выразился в одной статье член ЦК итальянской компартии Витторио Страда, «откормленные в прямом и переносном смысле», люди, власть имеющие и при этом относящиеся свысока к остальным, не своего круга. (О таких говорил Паустовский в речи на обсуждении Дудинцева: это те, кто был на верхней палубе и на всех прочих, даже на писателей, смотрели свысока)...

Плохо будет, если они Алика начнут перетягивать в этот мир...

26.8.62. Валера так сочиняет частушки: к строчкам «народной», взятой из сборника, присоединяет другой конец. Вот некоторые из них.

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Ты куда меня ведешь,
Такую молодую?
На ту сторону реки,
Иди, не разговаривай. | 2. Меня милый изменил,
Я пошла топиться,
И кому какое дело,
Куда брызги полетят. | 3. Меня милый изменил,
Я упала перед ним,
Я упала и сказала:
Что ты, гад, толкаешься? |
| 4. Гармонист, гармонист,
Я тебя приворожу,
Я надену красну кофту,
А поверх нее пальто. | 5. Меня милый изменил
В полчаса девятого,
Через пять минут приходит,
Я уже занятая. | 6. Американец бомбу бросил
Прямо милому в штаны
Пусть разорвет его, как хочет,
Лишь бы не было войны. |

22.9.62. *Крым, Алушка.* Аркадий Маркович говорил, что в этом году в стране опять плохое положение. Я спросил: откуда вы знаете? А вы поездите по колхозам, походите по рынкам, поговорите с людьми, не зараженными газетным патриотизмом. Все надо самому увидеть. Вот этого качества мне не хватает. А он на удивление энергичный и дотошно любознательный человек. «Я хоть сейчас готов в бой».

23.9.62. *Крым, Алушка.* Облака над горами — не поймешь, куда движутся. Перемешиваются, как пена между камнями, стремительно бегут в разных направлениях и вдруг тают в ярком небе.

29.9.62. *Крым, Алушка.* Читаю Паустовского «Бросок на юг». Вначале он меня немного раздражал: ну что он, собственно, описывает? Все это я вижу каждый день, только он назойливо ищет в этом какую-то особую красоту. Потом понял, что он учит людей так смотреть. «Я думаю, что мир в равной степени достоин и плодотворного созерцания, и разумного и мощного действия. Созерцание одна из основ творчества и любви к земле». Он удивительно на меня подействовал. Сразу появилось деятельное, жадное настроение, захотелось сразу что-то увидеть, насладиться и жить. И за сегодняшний день я довольно много сделал...

«Несравненно тяжелей пережить несбывшееся, чем несбыточное» (Паустовский).

Разговоры в санатории. Больной легочным туберкулезом говорит: «Как я могу за ней ухаживать? Если я ее поцелую, ей конец». Много разговоров об импотенции (у некоторых были операции на половых органах).

2.10.62. *Крым, Алушка.* ...Рассказ Бориса о землетрясении в Ашхабаде. «Трупы лежали на главной улице города в два-три ряда, им не было конца. Меня спасло то, что я крепко спал и не шевелился. Одна балка упала мне между ног, другая возле плеча — большая двутавровая балка. Я проснулся оттого, что чувствовал: что-то мне душно. Нет, еще раньше, во сне, у меня было какое-то подсознательное чувство, что стены падают. Я еще подумал во сне: надо будет сказать матери, что у нас стены непрочные. А проснулся, потому что было душно. Двинул рукой — и очевидно проткнул глинобитную стену: увидел над собой звездное небо и почувствовал, как вдохнул очень свежий воздух. Это было самое памятное ощущение: очень свежий воздух. А потом я вылез и пошел помогать выбраться отцу и матери. На мать упали сразу три балки, ее вдавило в кровать. Но она жива осталась, ей только сломало несколько ребер. Были разрушены почти все здания, но возле нашей школы был дом, который строили военные, он только дал трещины, в нем и сейчас живут».

Латышка Сильвия: «Вы не думайте, что я нарочно с вами кокетничаю. Просто это... как это по-русски... это у меня в крови».

Луна просвечивает сквозь кипарис и кажется кружевной. Даже не верится, что кипарис может просвечивать насквозь, он кажется таким плотным.

Володя К., бывший офицер: У племени тазов в Приморье существует многоженство. И высший почет для гостя — предложить ему переспать со своей женой. У председателя колхоза пять жен, из них три русских (учительница, продавщица в магазине и другие). Когда Володя пришел к нему в гости, тот предложил ему выбрать любую жену, но он отказался: в гарнизоне бы узнали. Тазам это разрешается, потому что их всего тысяча человек, боятся, что они вымрут.

3.10.62. Скалы с трещинами, похожими на древние письмена.

Белые чайки над бурным морем — хлопья белой пены.

Осенние пирамидальные тополя — как обтрепанные веники.

13.10.62. *Крым, Алушка.* Побывал в Крымском заповеднике. Южный берег — это еще не Крым. Великолепные буковые рощи с охровой подстилкой опавших листьев, непуганые олени и косули, воздух, по сравнению с которым воздух побережья все равно, что газированная вода по сравнению с вином. Здесь правительственные охотничьи угодья. Возле форельного хозяйства цветет белый пушистый ломонос. Клочья облаков и струйки пара поднимались ввысь прямо вокруг нас. Над нами летали черные грифы. Говорят, они могут так наестся, что уже не способны летать и в случае опасности отпрыгивают пищу... А потом спустились вниз и вновь увидели берег, разграфленный зелеными строчками виноградников (как будто расчерчен зеленым карандашом), и темные свечи кипарисов. Под нами светила ночная Ялта...

Ночью море зеленовато светится, и когда плаваешь, остается фосфорическая дорожка. Светлячки маленькие, белые; если их растереть на ладони, то и ладонь светится.

19.10.62. *Крым, Алушка*. Плынешь против прибоя: кажется, движешься вперед — а на одном месте. Как во сне безнадежно идешь по вязкому песку.

3.12.62. *Крым, Алушка*.

— Куда вы спешите? Вы посмотрите, какая луна!... Ну, разве вы женщины? Вы арифмометры!... Ну, хотите, я вам буду читать стихи?... Хотите, расскажу вам сказку?... Я открою вам государственную тайну!..

1963

5.2.63. Я пока без места.

Разговор с Игорем М. Я: «Зачем ты пишешь такие правые статьи? Тебе денег нужно? Нет. Разговариваешь с тобой — ты все понимаешь, и я с тобой согласен, а прочтешь статью — как будто не ты писал, совершенно иные взгляды». Он говорил извиняющимся тоном: «Это все цензура. В последний момент она может так изменить текст, что он становится диаметрально противоположным тому, что я писал». Обещал поговорить о моем трудоустройстве в «Комсомольской правде» с В., зам. зав. лит. отдела. «Это женщина из числа крайне «левых», она сидела, а теперь пошла в такой махровый орган, как «Комсомольская правда», и все надеется, что ее час настанет. Если ты ей понравишься (а ты ей понравишься (!)), то она тебя устроит».

Все же лучше говорить с людьми открыто, они тебя за это больше будут уважать...

7.2.63. А.Ненароков: «В истории еще хуже дела, чем в литературе. Сопровождение историков — это был бред... Под конец пришел Пономарев с красным носом после какого-то обеда и произнес такую речь, что, если бы ее сказал какой-нибудь аспирант, его бы освистали и согнали с трибуны. Он ничего не сказал, как будто и совещания не было. Проект резолюции был готов заранее, он обошел все вопросы».

Минц говорит: у меня такое ощущение, как будто я лезу по намыленному шесту, чем выше заберусь, тем сильнее могу грохнуться.

Сейчас три аспиранта, в том числе Алик, пишут для него «Историю дипломатии» в двух томах, которую он потом хочет выдвинуть на Ленинскую премию. Он устроил им скандал за то, что они получают деньги от государства и ничего не делают для него. Теперь они получают деньги от государства, ничего для государства не делают, только пишут для Минца книгу.

Это страшно: не иметь права ничего сказать. Академик Панкратова умерла, потому что ее затравили. Она, оказывается, была автором закрытого письма ЦК о Сталине.

Алик познакомился с сыном Якира. Ему уже 40 лет, в 13 его посадили за создание «конной террористической организации». Он в аспирантуре института истории, написал книгу, но думает, что некоторые места из нее выбросят. Он был очень любознательным ребенком и часто слушал телефонные разговоры отца. После ареста Тухачевского Якир позвонил Ворошилову и сказал, что не верит в его виновность. Через несколько дней его самого арестовали. От конвоира сын узнал подробности: поезд, в котором ехал Якир, был остановлен, к нему вошли, вынули из-под подушки револьвер и попросили идти. Он потребовал решение ЦК (он был членом ЦК). Ему

ответили: все будет в свое время. И буквально через неделю расстреляли. (Он был арестован самым последним)...

Здесь, пожалуй, уместно прокомментировать некоторые имена, упомянутые в дневниках начиная с 1960 года и дальше. В большинстве своем, это мои многолетние — до сих пор — друзья. Алик (Альберт Павлович Ненароков) — сейчас известный историк, профессор, автор множества книг. Юлий Черсанович Ким — знаменитый поэт, драматург, уже тогда был автором популярнейших песен. Много лет работал в школе. Илья Янкелевич Габай (1935 — 1973) — педагог, поэт, правозащитник, три года провел в заключении. Вскоре после освобождения покончил с собой. Я рассказывал о нем в большом очерке «Участь» («Способ существования», М., 1998). Все мы вместе учились в Государственном пединституте. Имя покойного Петра Ионовича Якира комментировать, думается, не надо, о нем достаточно сказано в тексте. Юрий Визбор — один из основоположников жанра авторской песни, журналист, стал особенно знаменит впоследствии как артист кино. (Прим. 2007 г.)

19.2.63. Читаю Достоевского. У него все герои очень умны, как он сам. Но их способность разбираться в своих и чужих чувствах — явный литературный домысел, если не вымысел. Обычно люди не разбираются в своих и чужих чувствах не потому, что они не умны, а потому, что чувства в большинстве случаев слишком нечетки, неясны сами по себе. Трудно бывает понять, любовь у тебя или что-то другое, презираешь ты кого-то или нет, и т.д. Только тоска может быть физически ясной и осязаемой, как изжога: ноет где-то между животом и сердцем. Иногда очень осязателен стыд, страх (сильный), сильная радость. Но часто и страх и радость не очень различимы: не поймешь, боишься ли ты, и радость только через голову приходит.

22.2.63. Один литературовед на предложение написать историю советской литературы ответил: «Чтобы сделать рагу из зайца, нужно иметь зайца».

27.2.63. С. заимел очередную «идею фикс»: он принципиально не читает повести Солженицына и вообще «Новый мир». «Сейчас самое реакционное — это писать о 37-м годе. У нас сейчас столько проблем, и есть нечего, и т. п., а вместо этого людям подсовывают старые преступления. Вот, мол, мы исправляем недостатки. Было плохо, а теперь хорошо. Это самая вредная политика».

Может быть, он и прав. То же говорил мне Аркадий Маркович в ответ на мое одобрение некоторой «либерализации»: «Это все равно что принимать чахоточный румянец на лице смертельно больного за признак здоровья»...

Но сейчас тот же «Новый мир», скажем, единственная отдушина, без него стало бы совсем тоскливо. И не так уж плохо радоваться тому, что хотя бы он есть.

4.3.63. Немного обидное ощущение, когда «вырастаешь из человека». Аркадий Маркович дал мне довольно много; встречи с ним подняли меня на определенный уровень, дали толчок для дальнейшего самостоятельного развития. А теперь встретились, и я чувствую, что «вырос» из него. Уже не он мне, а я ему даю новые сведения, концепции. Это грустно, и я обвиняю себя в неблагодарности. А он уже извиняющимся тоном благодарит меня за то, что я согласился встретиться с ним, оторвавшись от работы.

Так же было и с Г., и с Т. Очевидно, это закономерно.

Аркадий Маркович упорно называет мне дату перемен: 1966. Почему? «Это вопрос стратегии. Я не могу сказать «поживем, увидим». Потому что я не доживу до этого времени, а ты доживешь».

Его концепция такова: инициатива, военная и политическая, в руках Америки. Скоро она возьмет Кубу. Тогда все притихнет и в Латинской Америке, и в Африке. Потом получит атомное оружие Германия, это очень страшно. И войны не будет, мы не решимся начать, потому что мы знаем, что не продержимся». — «Какой же выход?» — «Только в решительных внутренних переменах»...

25.3.63. О чем спорят и разговаривают в 1963 г. Выступает в ССП Розов, рассказывает о своей поездке в Америку. Почему американцы несчастны? В частности, потому, что на них плохо действует система Фрейда, они задавлены психоанализом, боятся комплекса неполноценности и патологически внимательны к проблемам секса. И в том же духе...

26.3.63. Повторяется наступление ретроградов в искусстве. И вот уже вылезает наружу вся дрянь, а такие люди, как Шостакович, вставляют свой голос: «Мы счастливы; советы партии нам очень помогают». И Хуциев признает ошибки, обещает переделать фильм. Я возмущаюсь, но Алик мне резонно замечает: «А что же ты хочешь? Чтобы он больше не ставил ни одного фильма, ушел из кино? Другого выхода у него нет. Он проелся, ходит без копейки, и артисты хотят, чтобы им заплатили, чтобы фильм выпустили на экраны.

А Шостакович — его заставили выступить, и он еще выступил очень порядочно. Ему нужно остаться на посту главы Союза композиторов, там он принесет пользу. Артачиться он не мог, при всей своей мировой известности. Ты посмотри, его 13-ю симфонию исполняют чуть ли не силами самодеятельности».

Кстати, Миша Марутаев мне рассказывал, что во время выборов правления Союза композиторов Шостакович (под давлением, конечно) предложил подвести черту после списка ретроградов. И молодой композитор Роман Леденев вышел на трибуну и заявил о своей несогласии с Шостаковичем. Конечно, при голосовании победил Шостакович, но после собрания с ним была истерика, и на другой день он позвонил Леденеву и попросил зайти, потом написал о нем в «Правде» как об одном из самых талантливых молодых композиторов и наконец выдвинул его депутатом в местный Совет. То есть проникся к нему уважением, он сам знал цену своему и его выступлениям. (Между прочим, в перерыве собрания одна из знакомых подошла к Роману и сказала: «Зачем тебе было так портить свою карьеру?»)

Да, так что же делать, в самом деле. Уйти из искусства? Пойти на это никто не может, ведь неизвестно, насколько долго им придется не писать. А работать они смогут, только если признают ошибки. Так воспроизводятся подлецы, циники... «Бывали хуже времена, но не было подлей».

Похоже, что «перестанут умничать юнцы, станут в караул надежных вер». Они были слишком непоследовательны, слишком неглубоки — «не Заратустры — либералы»^а...

А с другой стороны: как избежать подличанья? При нашей гуманитарной специальности? Писать то, что скажут, или вообще не писать? Переквалифицироваться в управдомы или физики трудно, а не писать совсем, бог знает сколько времени — это значит загубить жизнь. На скорый поворот никто не надеется. Габай пишет, что

а Строки из стихов Ильи Габая (прим. автора, 2007 год).

не хочет больше писать. «Динамитом надо заняться и личным террором». А я не верю в это.

Алик посмеялся над моим оптимизмом, когда я сказал, что, может быть, это скоро кончится. Я сказал, что нынешняя реакция опирается не на столь широкую основу, как в 48-м году. Он сказал: ты смотришь с точки зрения очень узкого круга людей. А уровень масс остался прежним. Если опять устроят еврейский погром, как в 49-м году, думаешь, массы не пойдут? Пойдут.

А Аркадий Маркович убежденно доказывает, что больше, чем полтора-два года это не протянется. «Мы не выдержим, и так мы живем в слишком большом, почти мобилизационном напряжении. И запад не потерпит status quo, он нас давит по всем пунктам. Я думаю, будет война». Термоядерная или нет, и чем все это кончится, он не сказал...

6.4.63. У Гроссмана в романе «За правое дело» есть один немецкий художник в фашистской Германии. Он в оппозиции, но в душе признается себе, что завидует недавним коллегам, которые вхожи к Геббельсу, выставляют свои картины, ездят в Рим и Мадрид. И он чувствует, что если бы сейчас ему предложили высокий пост, вся его фронда кончилась бы...

апрель 1963 (без числа). Пора безработицы после болезни. Поиски службы. Отказы после личного знакомства, когда по внешности определяли мое происхождение.

26.4.63. На дверях душевой кабины рядом с выцарапанными рисунками надпись «Слава Новочеркасску!».

29.4.63. Был у Пети Якира. Очень похож на отца, черноволосый, типично еврейское лицо, любит подурачиться. Ему за 40, но выглядит моложе. Он аспирант Института истории АН. На стене известная фотография: Якир и Фрунзе. В альбоме много других фотографий. «Вот это папа, это Йоська, это Блюхерец... А это мама отвернулась от Йоськи». (Фотография изображала встречу руководителей с женами командиров РККА). Мама его, Сара Лазаревна, в молодости была очень красива, и сейчас очень живая, активная женщина.

Якир был осужден в 14 лет (!) за создание конно-террористической банды, сидел в лагере. Рассказывает: «Зашел я однажды в церковь и, как привык в лагере, держал руки за спиной, вот так. Вдруг слышу, какая-то старуха шипит: ишь, в храме, как разбойник, руки за спиной». Об аресте отца рассказывает так: когда арестовали Тухачевского и др., он еще оставался на свободе. И он звонил Ворошилову, доказывал, что не может такого быть, что Тухачевский невиновен. (Петя слышал этот телефонный разговор). Через несколько дней его арестовали. Его сняли с поезда, когда он спал, вынули из-под подушки наган. Он спросил: а где разрешение ЦК на мой арест? Ему сказали: все будет в свое время...

1.5.63. С утра приехал Юлик Ким, мы копали сад, играли в пинг-понг. Потом приехали остальные. Ходили в лес, пили, играли в футбол (девочки стояли на воротах)... Юлик совсем упился, ничего не помнил, не помнил, как разделся, как лег спать на террасе. Мы пытались его растормошить, чтобы постелить постель — бесполезно. Так и оставили его спать...

4.5.63. Ходили с Петей Якиром в Музей революции, где было собрание в честь 80-летия Бубнова. Петя показывал: вот это сын Бухарина, еще не реабилитированный, вот это историк Снегов... Вообще собрание стариков и старух показалось мне чрезвычайно убогим, за исключением считанных личностей. Удивительное убоже-

ство, несамостоятельность мыслей, общие слова. (Петя: «А чего же ты хочешь, им надо внушат обеспечить апельсинами»).

5.5.63. Ходил с Мишей Л. и Владиком П. к Цецилии Исаковне Кин, вдове писателя Виктора Кина. Очаровательная женщина, на вид лет 40, хотя на самом деле ей, наверно, много больше 50 (она уже перенесла два инфаркта). Вместе с Кином она до войны около двух лет жила в фашистской Италии, потом во Франции. Сейчас работает переводчицей с итальянского. Знала многих интересных людей. На стене, кроме многочисленных фотографий Кина, висит фотография Розенберга, посла СССР во Франции. «Один из интереснейших людей своего времени. Ради встречи с ним французские деятели бросали все дела». У нее живет некто Б., полуглухой и полуслепой человек. («Это его при аресте отделали. Он был очень боевой парень, прошел деникинское подполье. Он начал с ними драться»).

Я читал ей стихи Габая, которого она знает и любит. Стихи ей очень понравились...

Рассказывала о Маршаке. Жена Горького Пешкова обращается к нему на «ты», а он к ней на «вы» — еще с тех пор, как он мальчиком попал к ним в дом. Сейчас ему 73, ей за 80. Странно, что кто-то может называть его «ты»...

23.5.63. ...Мысли о возможности смерти. У меня явно новое обострение болезни. Главное — я надеялся, что правая почка у меня чистая. Теперь дела плохи, и резервов больше нет.

Теперь главное — дописать повесть. Это дело жизни...

Ходили в «Бригантину»: Ким, Агриколянский, Владик, Алик, Якир с Симой и я. Думал, что это кафе, а это клуб интересных встреч... Пел песни Ким, его принимали на «ура». Песни его, оказывается, знают в Москве, и вообще он личность знаменитая. Даже лестно было чувствовать себя его знакомым...

Потом зашли к Визбору. У него был оператор К., недавно вернувшийся из Новой Гвинеи, какой-то физик из Дубны. Песни Юлика опять пользовались успехом. Визбор рассказывал, как был на атомной подводной лодке. «Офицеры там — сплошная контрреволюция. Я был там самым правым»... Пел неплохие песни. Рассказал одну песню, которую слышал в вагоне от пьяного: «Мы кузнецы, и дух наш молод,/ И сорок пятый году кую,/ Сковали серп, сковали молот/ Звезду и больше ни хуя».

Петя Якир выпил, и похоже было, его несколько задевало, что о нем здесь не знают. Он начал рассказывать истории из своего тюремного быта. Когда его арестовали, он без всякого принуждения наговорил целый том нехороших высказываний о Сталине. Когда его освобождали, думали, что он сидит просто как ЧС (член семьи врагов народа); когда же увидели дело, решили, что у него выбили эти вещи пытками. Нет. Тогда они растерялись, потому что в 55-м году такие слова еще были криминалом. Пришлось писать новый протокол: высказывал критические замечания в адрес членов правительства. Он это не подписал, потребовал, чтобы исправили: в адрес Сталина. Так и исправили.

2.6.63. Дочери Вали Н. исполнился месяц. Мы собрались.

Петя рассказывал, за что сажали людей. Одного тренера за то, что он тренировал пловчиху плавать кролем, в то время как брассом она могла бы установить мировой рекорд. Балетмейстера Большого театра: он не эвакуировался из Москвы (хотел остаться у немцев) и имел пистолет «Вальтер», а на репетицию «Раймонды» должен был придти Сталин. Певец Козин однажды выступал перед армией Андерса, которого должны были переправить в Персию. После концерта на банкете один из офи-

церов спросил: «А почему бы вам не поехать в Америку?» Козин сказал: «Да, у меня там папа, я бы неплохо жил». (А папа его был великий князь, брат Николая). Чтец-декламатор из той же труппы, которая давно ревновала к его успеху, услышала это и донесла. Его обвинили в попытке уехать за границу. Следовательно пять раз вызывал его на допрос и молча читал газету. На шестой раз вдруг дал ему по морде: «Долго ты будешь молчать, блядь?» Козин пришел потрясенный: «Меня назвали блядью! И что я ему должен был говорить, он же ничего меня не спрашивал?» Повязал на койку в тюрьме большой бант: «Не могу жить без роскоши». За что-то сидел тренер по конькам, он в тюрьме вместо всех натирал пол — чтобы сохранить форму...

11.6.63. Зашел в кафе-мороженое. Сели рядом двое, по виду рабочие, один постарше. «Что за жизнь! Сколько войн провоевали, а все не жизнь. В магазин зайдешь — хлеб черствый, все воруют». Другой его останавливает: «Уйдем отсюда». — «Почему?» — «Не нравится мне этот», — и показывает на меня. Тот махнул рукой. Через некоторое время ко мне: «Вот мы тебя боимся». Я говорю: «А хули, все мы одинаковые». — «Правильно, все мы одинаковые». И продолжают дальше... Потом ко мне: «Небось, тоже ворует?» Я говорю: «Негде»...

19.6.63. Пробовал писать рассказ. Вдруг звонок: приехал Илья Габай.

Очень была для меня большая радость. Мы разговаривали довольно бестолково о разных вещах: об общих знакомых, о новостях литературы и т. п. Он предложил писать совместное большое произведение: каждый будет искренне выражать свои мысли, чувства, перемежать это сюжетными кусками, стихами и т. п. Я очень загорелся, но, боюсь, не получится...

Потом поехали к Лене и Гале. Приехал Ким, Галя Эдельман и др. Галя Эдельман рисовала. Была довольно богемная обстановка. Ким и Илья поспорили. Ким развивал свою последнюю «идею фикс» о том, что нужно в школе проповедовать детям либеральные мысли, говорить о несовершенстве существующего строя и т. п. Илья говорил, что правильней просто внушать им понятия о порядочности, честности и т. п., что внушенные идеи они усвоят так же догматически, как мы усвоили свои догмы, что это кукиш в кармане, когда сам знаешь, что тебя за что-то не накажут, честней делать, как народники, заниматься террором.

Его очень коробит, что те, кто раньше читали ему мораль, не соглашаясь с его «крайними» взглядами, теперь занимают ту же позицию. Надо было раньше, не мальчишки были, не 17—18 лет.

Кажется, впервые в записях возникает Галя Эдельман, художница, математик. В следующем году она станет моей женой. (Прим. 2007)

22.6.63. Был у Ф. И., написал для него письмо министру Малиновскому. Он при мне звонил в приемную Малиновского, я слышал, как он говорил: «Жизненно вас прошу, от имени детей. Дело имеет огромную политическую важность, я здоровья лишаюсь» и т. п. ...

30.6.63. Несколько дней писали с Габаем. Вдвоем работа идет быстрее.

4.7.63. ...Вечером мы с Ильей лежали и разговаривали. «Очень тяжело чувствовать себя неудачником. Что я сделал? Написал несколько стихотворений, которые читают 15—20 человек знакомых, и то понимают с пятого или шестого раза. А это тоже приводит к одиночеству, потому что ты интересен людям постольку, поскольку

что-то делаешь. Ты думаешь, приятно идти представляться к директору школы и надевать чужой костюм, в 28 лет не иметь ничего определенного?»...

Я сказал: «Если бы ты верил в себя, как я в тебя. И главное — для меня, например: пусть я графоман, пусть фанатик, но, независимо от результатов, я не смогу иначе, я не смогу не писать»...

20.7.63. С 17 июня работаю младшим редактором в Росвузиздате. Обязанность младшего редактора — подчищать и подклеивать за другими редакторами, работа чисто механическая. Все меня спрашивают: а какое у вас образование? а где вы до этого работали? а почему же ушли из газеты? — и это уязвляет мое самолюбие. Тем более, платят 88 руб. Но главное, неприятно чувствовать себя ниже других, которые, в общем-то, ничем не выше тебя. Этаким комплекс неполноценности. Но при поступлении на работу мне поставили условие, что я буду редактировать книги по немецкому языку. Я не без наглости согласился, но оказалось, что я вполне справляюсь. С тревогой ждал, что будет, когда придет разговаривать со мной автор, вдруг она захочет говорить со мной по-немецки? Нет, говорила по-русски и даже сделала несколько комплиментов, как я хорошо редактировал. Таким образом, мне дали не то, что обещали: я фактически выполняю работу редактора и сверх того младшего редактора, а получаю ставку младшего редактора. Но при поступлении был намек на то, что через некоторое время меня переведут в редакторы...

Как всегда, когда мне нехорошо, все с большей надеждой думаю о своей работе, которую мы теперь делаем с Габаем. Теперь работать трудно, я пока довольно сильно устаю. Но свободное время работа оставляет. Правда, уходить из редакции раньше времени нельзя, но там можно заниматься своим делом.

21.7.63. До сих пор под впечатлением гениального фильма Феллини «8½». Чем дальше, тем больше проникаюсь этим фильмом.

Только что приехал из Дворца съездов, где объявили о том, что Феллини присуждают первую премию. По правде, я этого не ожидал, но как это хорошо! Я счастлив, что увидел Феллини, он проходил вместе с Джульеттой Мазиной в метре от меня. Теперь это почти все равно, что увидеть Хемингуэя.

Может быть, фильм купят, но я заранее предполагаю, что у широкой публики большим успехом он пользоваться не будет. Он очень сложен и утончен. Хотя в русской литературе была сильная традиция такого стиля (Гоголь, Достоевский), но у нас он сейчас не в почете. После Пленума первая премия этому фильму — некоторый щелчок нашим деятелям.

22.7.63. Главное на моей работе — не показывать, что тебе уже нечего делать. Тогда можно делать вид, что ты что-то делаешь, и заниматься своей работой.

1.8.63. Илья читал новую главу романа «Марат в армии» На 20 страницах описывается один час армейской жизни. Интересно, но очевидно, вся глава займет страниц 60 и больше, а это слишком будет выпирать. Он говорит: «Я хочу, чтобы мы не боялись материала, описаний. Нужно дать как можно более широкую картину жизни, а не свои разговоры, какую-то одну идею, событие и т. п.» Пожалуй, он прав, но это немного не мой стиль...

Малыш-ползунок на фотографии: человеческий головастик.

17.8.63. Габай договаривался с Петром, чтобы тот выступил перед его школьниками. Петя начал его учить, как все преподнести: не говорить, что это мой знакомый, вообще сделать так, чтобы Илья никакой ответственности не нес — а Пете

нечего бояться. Илья отказывался, говорил, что не хочет никакой таинственности. «Чудак, — сказал Петя, — зачем напрасно навлекать на себя беды?»

И опять зашел разговор о Сенатской площади и прочем.

Петя говорил, что нужно медленно и постепенно воспитывать людей. Сначала два человека будут на твоей стороне, потом 22. Учитель — большая сила, а бессмысленная вспышка и гибель никакого толка не даст и никого не научит.

— Знаешь, когда я однажды подумал о тебе? — сказал Петя. — Два дня назад мы возвращались с Кимом и С. ко мне домой, ночью, пьяные, пели песни. Тут я увидел у своего подъезда участкового. Я уже имел с ним объяснение. Попросил ребят пока помолчать. Мы спокойно вошли в подъезд, и тут С. разбушевался: а почему мы должны молчать? Я сказал: зачем лезть на рожон? Вам все равно, а я здесь прописан. — Ах, ты здесь прописан!... И расшумелся. Тогда я сказал: брось эти габаевские штучки, Сенатскую площадь и все такое. Показать свою смелость перед участковым, получить за это как следует — и без всякого смысла, без всякого результата. Просто чтоб показать свою смелость. Так я тебя понял

— Ты не совсем точно меня понял, — сказал Габай.

18.8.63. Ко мне приехал Илья, и мы попробовали писать. Он делал «Блудницу», и я первый раз сказал, что мне не понравилось. Очень печально говорить такие вещи. Габай спорил и был, конечно, огорчен. Видно, споры еще впереди.

Он хотел у меня ночевать, но позвонил Р.: ему негде ночевать. Габай уехал устраивать его у Лени Зимана. Я время от времени забываю, что есть люди, которым негде ночевать.

Сентябрь 1963. Крым. Алушка. Утром вершина Ай-Петри на фоне хмурого неба светится, как уголек в золе.

Кипарисы кажутся непрозрачными. Даже удивительно было открыть, что солнце все же просвечивает сквозь их можжевелевую зелень.

Облака к вечеру скапливаются козырьком над горами. В четыре часа за этими облаками прячется солнце. Они стремительно мчатся в разных направлениях, неопостижимо оставаясь в то же время на одном месте, перемешиваясь, завихряясь — как пена между камнями — и тут же, вблизи гор, тают, растворяются в синем небе.

9.9.63. Аркадий Маркович Левин: «Я ненавижу людей, которые говорят, что ничего не может быть. Тебя это не касается, но вообще я таких людей ненавижу». — Я: «Я был бы только рад, если бы вы оказались правы, но я ничего не вижу». — «Я тебе скажу небольшую новеллу. Очень коротко, и больше ты меня не спрашивай. Я **уверен**, что существует глубоко законспирированная организация, которая что-то делает». — «Вы уверены или знаете, что это есть?» — «Больше я ничего не могу сказать. Но у меня есть много оснований так считать. И возглавляют эту работу, как ни странно, бывшие коммунисты». Я не понял, что значит бывшие, спросил: «Старые большевики?» — «Нет, не старые». — «Дай Бог, дай Бог», — сказал я.

13.9.63. ...«Закрытое письмо» по поводу того, что из-за невиданно суровой зимы и неслыханно засушливого лета у нас неурожай, и надо беречь хлеб. Тут же добавили, что, несмотря на это, мы соберем все же хлеба больше, чем в прошлом году. Чушь какая-то.

14.9.63. ...Вспомнился рассказ Гали Эдельман: как она рисовала «одну из самых реалистических своих картин» на берегу Москвы-реки и картина упала в воду. Какой-то парень на лодке подъехал, чтобы выловить картину и отдать ей, но увидел, что это «абстракция» и не стал поднимать. Так ей было жалко — очень удачная была работа.

28.9.63. Вчера показал ребятам свой новый рассказ «Сумасшедший»... Как-то неожиданно отозвался Габай. Сначала просто сказал, что рассказ хороший, но потом начал говорить: недостаток в том, что герой не типичен; 99% наших людей — циники, а ты показываешь искреннего человека. Он не может быть героем рассказа, в лучшем случае — эпизодический герой большой вещи. То есть он понял, что я хотел сказать, но ему это не очень понравилось.

А я, как ни странно, доволен. Хотя сознаю, что рассказ не сделан, может быть, действительно надо дать ему полежать..., но мысль, мне кажется, удалось выразить, и мысль страшно мне нравится, да, кажется и все сочли ее интересной: герой — полнейшее порождение своего строя, но в отличие от других он до патологичности искренен и потому кажется сумасшедшим...

Вчера ходили с Габаем в синагогу. Был «йом кипур». Габай говорил, что хочет сходить, чтобы вдохновиться на новое стихотворение. Но не вдохновился. Был сильный дождь (кто-то философски заметил: «еврейское счастье»), и толпа, которая обычно запружает улицу, вся втиснулась в синагогу. Было душно, на улице стояла машина скорой помощи, ведь многие в этой духоте целый день не ели. На лестнице плакат тушью на русском языке: «Пожертвования такие-то и такие-то не отдавайте в руки, а опускайте в запломбированную кружку и получайте квитанцию. В самой синагоге по-русски написана молитва о мире. Вообще богослужение здесь одно из самых демократичных, никакой чопорности, можно разговаривать, смеяться, обсуждать свои дела — это не церковь, а скорее клуб. Какой-то еврей на улице громко пел молитву. С кантором нам не повезло, пел не очень хороший кантор, а нового мы не дождались — Илья заторопился, очень было душно. К нам очень доброжелательно относились, сами охотно объясняли, что происходит и что будет дальше.

1.10.63. С сегодняшнего дня я переведен в редакторы. Приятное ощущение возросшей полноценности.

7.10.63. В издательстве была лекция о международном положении. «Начинаются разные разговоры о том, что в хлеб добавляются примеси в виде гороха и кукурузы. Надо дать решительный отпор таким разговорам. Хлеб с примесями не только не хуже, но даже лучше по своим вкусовым качествам, чем без примесей. Ни в одной стране мира не делают хлеб без примесей. С кукурузой и горохом хлеб становится белей, вкусней»... И все сидят и усмеваются.

8.10.63. Читаю дневник Анны Франк. Я в 13 лет не писал дневник, но писал его в 18 и 20 лет — и, господи, насколько я был тупей и ничтожней этой маленькой девочки. Я просматриваю свои старые дневники — о каких глупостях я писал, какими высокопарными мелочами была забита моя голова! А сейчас я умней? Каждый год я думал: каким глупым я был в прошлом году и насколько стал умным сейчас. Так я думаю каждый год.

13.10.63. Днем ходили на футбол СССР — Италия (2:0). Был дождь. По дороге со стадиона зашел к Гале Эдельман, она как раз показывала свои рисунки каким-то ребятам (на предмет выставки). Угощала чаем с брусничным вареньем, которое ей прислали из Красноярска. Хотел бы я побыть у нее подольше, очень мне Галка нра-

вится, а сблизиться пока никак не удастся. Хотел вернуться вечером после ресторана, где справляли Юрин день рождения, тем более, там ждали меня соленые грибы, опять же присланные из Сибири. Но папа и Юра уговорили меня поехать с ними... Постояв в очереди, попали в «Арарат», потом туда пришли итальянцы из числа 5 тысяч туристов, оркестр играл сначала «Фрейлэхс» и «Семь сорок», итальянцы активно поддерживали музыку (похоже, среди них половина были евреи), а потом стали играть итальянскую музыку, они подпевали. Наконец, с разрешения метрдотеля (я его знал еще официантом) один из итальянцев под аккомпанемент товарищей отлично спел. Юра был в восторге, он первый раз был в московском ресторане, папа разрешил ему закурить; сам папа был счастлив...

Надменный, как туалетный работник ресторана «Арарат».

19.10.63. Художник рассказывает, как он должен был стать соавтором Вучетича по скульптуре Сталина на Волго-Доне и как Герасимов и Серов водили его смотреть Сталина. Его переодели в форму КГБ, и он один раз с расстояния увидел его. И сделал портрет: хищная птица.

22.10.63. В воскресенье собрались у меня, слушали магнитофон, сочиняли новую пьесу «Круг» в авангардном духе. Все были очень довольны, Галя Эдельман восторгалась: «У тебя столько интересного! Спасибо за вечер»...

Вчера работали на овощной базе, складывали капусту в бурты. Рабочим за это платят 40 коп. в час, за сверхурочные — 60 коп. в час...

26.10.63. Габай и Ким читали стихи в институте физпроблем им. Вавилова. Габай читал довольно невнятно, и выступавшие на обсуждении почти единодушно говорили, что стихи Кима им понравились, они просты и доходчивы, с отличным юмором (одна женщина даже сказала: с трагическим юмором), что там отличные пейзажи. А вот стихи Габая они, во-первых, совсем не поняли, («Может быть мы недостаточно квалифицированные слушатели», — сказал член-корреспондент АН Шальников), и им показалось, что это очень головная и непонятная поэзия. Правда, некоторые, те, кто успели прочесть стихи Габая, возражали им, и сам Габай сказал: мне очень привычно слушать такие обвинения в непонятности.

Потом Галя Эдельман предложила выступить мне и пояснить стихи. Я начал было говорить, но довольно косноязычно, чувствовал, что получается плохо — очень волновался, в голове стоял пронзительный звон и заглушал мысли. И тогда я (вспомнив слова Гали: ты приведи несколько примеров) стал просто читать стихи. И чувствовал, что у меня получается. В зале была отличная акустика. Голос у меня звучал ровно, я страшно волновался, возможно голос дрожал — но от этого он становился только напряженней, и ужасно дрожали ноги, (точней, левая коленка), я даже думал, что это заметно. Потом меня попросили прочесть «Японию», «Юдифь» — и Галя Эдельман даже прижала к щекам пальцы, так на нее подействовало. А Димыч сказал: «Тебя, Марк, на пленку нужно записывать, честное слово». И потом: «Стихи у тебя звучали, как большая поэзия: очень четко, выразительно — отлично». Все говорили, что было очень здорово, и Белла Исаковна: «Вы молодец. Теперь вы будете читать нам стихи Габая». — «Ну, вам-то не нужно». — «Нет. В вашем исполнении я слышала то, чего раньше не чувствовала». И когда мы уходили от Беллы Исаковны (после вечера мы зашли к ней, и я читал первую часть машинописного «По ком звонит колокол» — читал быстро, но получал сильное впечатление) — когда мы ухо-

дили, Галя Эдельман сказала: «Марк, как я тебя сегодня любила». Я, конечно, пробормотал пошлость: «Люби меня всегда» — зря. Но дело не в этом...

Габай все не давал мне читать Хемингуэя: «Брось. Поговори со мной. Ну, как ты думаешь, может, я по тебе соскучился»...

30.10.63. Вчера Димыч позвонил мне из библиотеки и сказал: «Знаешь, я вчера, как пришел, дал Юлику твой рассказ, и он ему очень понравился. Даже произвел впечатление. Он как-то подпрыгнул и сказал: талант у Марка»...

31.10.63. ...Вечером была выставка Гали Эдельман. Выставка производит впечатление. Галя страшно волновалась, ее обступила целая толпа — пробиться нельзя — и чуть не заклевали. Вдобавок попались два дурака, которые замучили глупыми вопросами, она не успевала объяснять...

На выставке был художник Борис Петрович Чернышев, с всклокоченной седой бородкой, рыжей буйной шевелюрой, с тонким горбатым носом, плохими зубами — половина уже металлические, и те шатаются, в старом коричневом свитере, отвисающем на воротах.

— Когда я оформлял пансионат на Клязьминском водохранилище, зрители сначала очень недоумевали, что я делаю, потому что я стоял в телогрейке, в рваных штанах, весь в цементе, гипсе, колот камни. А потом заинтересовались. А строители стали моими лучшими друзьями. И мне очень много дало, что я поработал со строителями.

— Я вот уже сколько лет работаю, но редко могу объяснить, почему нужно делать вот так, а не иначе. Вот Владимир Алексеевич (Фаворский) — тот умеет объяснить, он мне много дал. Мне повезло, что я встретился с Фаворским, Петровым-Водкиным. Галя у меня училась. Хотя я не могу сказать, что она у меня что-то взяла.

Юлик Ким привел на выставку своих школьников. Они были поражены, что их учитель чуть ли не с половиной посетителей выставки, и с самим автором, и с художниками здороваются за руку. Очень это возвысило его в их глазах...

О Борисе Петровиче Чернышеве см. мой очерк в книге «Способ существования».
(Прим.2007)

Белла Исаковна рассказывала: после вечера в Институте физпроблем Габай был подавлен, они разговаривали до двух часов ночи. Габай был недоволен, что я читал стихи: не там ставил ударения. Белла Исаковна убеждала его, что я сделал большое дело. В конце концов Илья сказал: да, Марк хороший товарищ. — А ты сомневался?

5.11.63. У меня долго сохранялось почтение к печатному слову. Увидев в печати впервые свое имя (в районной газете «Путь к победе», где написал о школьном турпоходе по Оке), я почувствовал себя приобщившимся к какому-то таинству. И даже научившись потом не соглашаться с печатным мнением, я по крайней мере не сомневался в честности писавших. Допустим, думал я, можно сомневаться в том, что высшие истины времени добываются на строительстве комбинатов и ГЭС, что бетонщики и сварщики постигли более значительную истину, чем те, кого я знаю, — но вот люди свидетельствуют, они в этом убеждены, возможно, они видели и поняли больше меня.

Так я думал довольно долго, пока не познакомился с теми, чьи подписи стояли под впечатляющими свидетельствами. Я увидел, что сами они думают вовсе не то, что пишут, что они циничны не в пример мне. «Скверно живут рабочие, совершенно не по-человечески» — рассказывал после командировки Ф. Статью его я прочел потом и уже знал ей цену.

7.11.63. Собрались у Пети Якира. Было слишком много народа, от этого не очень уютно... Зашел спор с подругой Сары Лазаревны Соней Прокофьевой, бывшей заместительницей Кольцова, редактором какого-то женского журнала. Она участвовала в гражданской войне, сидела. Доказывала Габаю, что очень любит советский строй, и все, что было — это не порождение системы, а следствие субъективных недостатков Сталина. «Я до самого дня своего ареста и ареста мужа верила, что чего-то не понимаю, и все так верили... А вам, молодым и честным, нужно только не мириться со всеми недостатками. Видишь недостаток — разоблачи его. Это чепуха, что вас за это уволят с работы. Я недавно перед школьниками (я тоже работаю в школе, член [какого-то] совета) — говорила, что Евтушенко хороший поэт, что у него были ошибки, но он честный человек. И мне даже хлопали, смотрели на меня вот такими глазами: что она говорит! Но потом благодарили. И конечно, ничего мне не сделали».

Конечно, горько, что пожилые умные люди так ничего и не поняли.

В спор включились жена Бухарина, Нюся, и его сын Юра. Она сказала: «У меня больше оснований быть недовольной жизнью, чем у вас. И даже сейчас у меня больше для этого оснований. Вам Петя сказал, кто я? Нет? (Это прозвучало, как голос отверженной: вам Петя сказал, кто я? Нет? Без гордости, с горечью — голос клейменной). Мне хуже, чем Пете, мне приходится доказывать, что Бухарин был хороший и честный человек. И говорить об этом открыто я не могу. Но я никогда не скажу худого слова о социализме как системе».

Потом, когда зашел разговор, что никогда не были уравниены зарплаты рабочих и специалистов, она сказала: «Это неправда. Бухарин получал 225 руб. в месяц, квалифицированный рабочий — 220 руб. в месяц. Так было до 38-го года».

Петя, вдребезги пьяный, кричал: «Нюська Бухарина защищает советскую власть! Вот это анекдот. Ты пройди по нашему дому — он собственность ЗИЛа, спроси у людей про советскую власть, они тебе ответят плевками, и туберкулезными плевками!» Соня Прокофьева кричала: это неправда!..

Приходила масса гостей, разговор шел в таком духе: я немногим меньше вас сидел. Вы сколько? 17 с половиной? А я 17...

Рассказ Пети, как можно симулировать туберкулез: намазать родинку на груди (для того, чтоб было все время на одном месте) свинцовой или цинковой мазью — на снимке получится пятно, нагнать температуру больше фиброзной 37,5° — задерживая дыхание и напрягая мускулатуру, таким же путем увеличивается РОЭ — до 44. Таким образом он избежал штрафных работ и спасся в санчасти.

8.11.63. Мы шли по мокрой улице — впереди, приплясывая, с песней гренадеров, Ким, Якир и Габай. Потом мы сидели у Юлика в пальто, и Юлик читал стихи. Потом в комнате у Вали Попова орали песни и опять читали стихи. И я думал, как это похоже на то, что мы видели в кино, а ведь надо только сосредоточиться — и то, что мы делаем, само по себе представится как высокое искусство, не нужно никаких ухищрений, не нужно «вводить это в перл создания».

Примерно то же почувствовал Юлик и спросил у Вали: «Ну что, похожи мы сейчас на современную молодежь, которую изображают в фильмах?»

Валентин Попов исполнял одну из главных ролей в недавно запрещенном фильме «Застава Ильича». (Прим. 2007).

— Давай сыграем в чепуху. — А мы в нее всю жизнь играем.

10.11.63. «В здоровом теле здоровый дух» — это казалось мне аксиомой. Но, заболев, я понял многое, чего не способен был понять здоровым. Больные тоньше, глубже, философичней здоровых... Или все это самоутешение? (Мысль при чтении «Доктора Фаустуса» Томаса Манна).

13.11.63. Мы вчера фантазировали: как хорошо было бы снять отдельный домик человек на пять-шесть. Галка начала фантазировать, как она бы готовила и вела бы хозяйство, утром проверяла бы, чистые ли у нас руки. Габай: «А раз в год мы бы освобождали одного из нас месяца на три для работы, чтобы потом он отчитался перед всеми, что он сделал. Он обязан за эти три месяца что-то сделать. Мы бы обсуждали друг друга и никого постороннего к себе не пускали. Жили бы вместе, избранные, элита».

Днем выпал снег, потом дождь; в туманных сумерках сквер наполнен серебристым сиянием. У девушки впереди светло-зеленое пальто, лимонно-желтая шапочка. Какая изысканная гамма! Да еще дом в конце сквера подкрашивает туман слабым розовым цветом.

Но вот девушка свернула в сторону, теперь по дорожке идут двое в черном. Совсем не то!

18.11.63. Играли в чепуху, и получались очень удачные стихи. Мы придумали имя автора: Нетта Некрасер. И многие, кто читали стихи, принимали их всерьез. Бессмыслица иногда порождала удачные образы. Как у Вознесенского: «Помесь королевы блюза и летающего блюда». Это вполне удастся Нетте Некрасер.

23.11.63. Сегодня в метро увидел в газете портрет Кеннеди и удивился: что он, приезжает в Сов. Союз? Портрет был без траурной рамки, и только уже на работе, давая указания машинистке, увидел у нее в руках газету с заголовком: убийство президента Кеннеди. Я даже запнулся и объяснил ей задание весьма сбивчиво. Отчего меня так поразило это известие? Не знаю, но оно меня всерьез потрясло, я минут десять не мог прийти в себя. Странно... А ведь убийство может оказать серьезное влияние на международные дела.

Б. П. Чернышев свою последнюю работу «Однополчане» сделал на обожженных досках: лица солдат, написанные фресковой (или темперной) краской, как бы выступают из обугленной среды, из воспоминаний, как будто этот портрет сам по себе был вынесен из огня войны.

Вот, долго не мог сделать ничего нового и, казалось, уже исчерпал себя. И вдруг выдаст что-нибудь такое, что только рот разинешь.

26.11.63. Целую неделю довольно сильные боли в правом боку и пояснице. Неужели почка? Сдал анализ и опять подумал о том, что вишу на волоске. На этот раз спокойней, чем летом, когда ухулся анализ. И опять думал о том, что мне

надо торопиться. А рассказ писать некогда. На работе есть время, но нельзя так писать — не сосредоточившись полностью.

Белла Исаковна предложила Илье поужинать. «Спасибо, я не голоден. Мы пойдем на полчаса погулять». И только мы вышли на улицу: «Скорей куда-нибудь пожрать. Помираю от голода».

Он живет у нее долго и каждый день, наверно, заставляет себя отказываться от еды.

Приехал наш родственник из-под Кисловодска. Я принес в это время домой два белых батона, которые купил на улице Горького. Он съел столько хлеба — как будто это пирожное. «У нас такого и в помине нет».

4.12.63. Прочел «Чуму» Камю, его Нобелевскую речь и подумал: как странно, что мы можем всерьез разговаривать об автобиографии Евтушенко, о прочих вещах, которые находятся будто совсем в ином веке, о которых смешно говорить, когда существуют Хемингуэй, Камю, Феллини и др. Это все равно, что иметь отменную ресторанную пищу и пробавляться едой из студенческой столовой.

13.12.63. -24°. Хрустящее морозное утро. Мороз больно сдавливает надбровья, а когда разогреешься — сладковатый вкус во рту. В тепле чешутся обмороженные уши.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Где-то в начале 70-х годов я уничтожил почти все свои тексты, написанные до 1971 года (т. е. до повести «Прохор Меньшутин»). «Я не завидую сверстникам, начавшим с «молодежных» повестей, — писал я в эссе «Опись перед сожжением» (книга «Стенография конца века»). — Сейчас это неловко читать, а уже напечатано. Что-то из написанного могло прозвучать в свое время — но лишь в свое». «Увы, у меня уже не будет «раннего» периода — почти все пошло на выброс».

Несколько считанных текстов я все же оставил. «Нечестно же утверждать, что я родился готовеньким, во всеоружии, как Афина из головы Зевса», — писал я в том же эссе. — Жизнь человека имеет свою историю, и эта история интересна, поскольку интересен сам человек.

Самый ранний из сохранных текстов, рассказ «Сумасшедший», был написан в 1963 г. В дневнике за этот год упоминается и прототип рассказа (запись 22.6), и отзывы первых читателей.

Публикуется впервые.

Сумасшедший

1

«Рожков Иван Фомич, 1917 г. рождения, майор интендантской службы. В течение всей жизни имел частые конфликты, везде находил недостатки, «вредительские безобразия», активно разоблачал их, обращаясь в самые разнообразные и высокие инстанции. Факты, им вскрытые, подтверждались, о чем ему сообщают, но должных выводов, по мнению больного, не делают, с чем он не может смириться. С напряженным аффектом больной рассказывает о своей деятельности и борьбе, часто и искренне употребляя возвышенные газетные обороты. Полон чувства обиды, которая мешает ему спать. Многократно просыпается ночью из-за этих мыслей. Речь быстрая, с резкими модуляциями, не удается прерывать больного, подчас не слушает и игнорирует вопросы. Корректировать больного не удается. Локальных органических знаков не отмечается.

D-s: Психопатическое развитие, сутяжно-параноидальная форма».

2

Начальник госпиталя еще раз перечитывает заключение, переводит взгляд на сидящего перед ним человека. Маленький, плотно сбитой, больничная, не по росту, пижама бесформенно топорщится на нем; он сидит на стуле, подавшись вперед, и узкие глаза из-под густых выгоревших бровей цепко смотрят на врача. Тот пробует представить его в военной форме — это удастся без труда.

— Я лично не вижу причин оставлять вас в госпитале, — говорит врач.

— Нет, я требую полного обследования, — вскидывается Рожков, — чтоб была аттестация по всей форме, чтоб показать им, как глумиться над честью и достоинством советского человека... в сумасшедший дом сажать.

— Ну-ну, спокойнее, — говорит врач. — В этом вся и беда. Расшумитесь, потом еще угрожать начнете — вместо того, чтобы по-хорошему. Спокойнее надо быть.

— Если бы я мог, — неожиданно просто соглашается тот. — Но вот вы сейчас говорите — я и то весь дрожу. Может, я вправду сумасшедший? Пришел вместо меня этот майор, Галатенко, все сломанные машины принял, списал, получил новые — через полгода имел подполковника, а я девять лет ходил в капитанах. Но я не могу согласно устава и инструкции категорически надо взыскивать с виновных, а не списывать; наша партия и комсомол, и наша советская армия учили стоять на идейных позициях, и я не отступлюсь от правды, хоть мне скажут: умри, Рожков, или отступись...

И все больше распаляясь от собственных слов, жестикулируя, он начинает говорить про то, как еще во время коллективизации кулаки жгли его в риге, про каких-то крыс, которые совершенно пешком ходили по складу, и про то, что в период строительства счастливого коммунистического завтра молчать об этом могут только статуи...

Ночью, в запертой палате, он опять не может уснуть и ворочается от физически ощутимой, как озноб, досады. Не так надо было, — думает он. — В голове каждый раз все так ясно, а выразить не получается. Надо было ему показать, что я без личной выгоды, невзирая на лица; будь мне хоть самый лучший друг — но для меня главное, как принципиально учила наша родная армия...

тут мысль Рожкова сбивается, потому что он нечаянно вспоминает Марата Гуревича и его злую матерщину — хороший был его дружок Марат Гуревич, в стране Мурлындия — так называли у них бухту Ольга и весь Ольгинский район до Сихотэ-Алиня; Марат был там врачом, а он начпродом госпиталя, и он критиковал Марата за то, что пьет казенный спирт и приходит на работу нетрезвым, хорошего своего товарища критиковал...

воспоминание соскальзывает дальше — как они стояли в лесу под октябрьским дождем вместе с солдатами, когда во время тревоги не разрешали развести огонь, они продрогли до озноба и чтобы хоть чуть согреться, сожгли вдвоем, загородив телами, его пластмассовую расческу; синеватый шипящий огонек не успел даже отогреть пальцы, от них шел светящийся пар, и тогда они сожгли расческу Марата и погрелись от его огня — пока не разрешили наконец развести костер, и все разделась вокруг него донага, полсотни голых мужиков, высокое пламя высвечивает их белые тела на фоне черного леса...

вот такой был близкий товарищ Марат Гуревич, а из-за этой критики их дружба кончилась — Марат лишь поматерился и подал рапорт; он служил раньше хирургом на корабле, в 52-м какой-то офицер оскорбил его, Марат врезал ему по морде и был с корабля списан, но все равно не надо бы ему так пить казенный спирт...

Кровать под Рожковым вновь беспокойно скрипит; это воспоминание смутно тяготит его, и в то же время ему сейчас почему-то все больше кажется, что именно вот это нужно было рассказать начальнику госпиталя, чтобы тот перестал подозревать в нем сумасшедшего, хотя и повторил опять, что заключение ошибочно, а сам назначил процедуры для укрепления нервов и свободный режим — свободный! а дверь на ключ, и на окнах решетки...

Как нахлынувшей волной Рожкова смывает с кровати, он подбегает к двери, кричит и стучит в нее кулаком, пинает босыми ногами, не чувствуя боли.

Днем у выхода из госпиталя его встречает, отирая слезы, жена.

— А мне твой полковник сказал, что ты долго здесь будешь. Я продукты принесла, вчера не пустили.

— Он бы хотел, чтоб я сюда надолго, — усмехается Рожков, и глаза его под выгоревшими бровями становятся совсем маленькими. Больше он на этот раз ничего не говорит, они идут рядом молча. Людмила Сергеевна смотрит сбоку на мужа, на его нахохлившуюся плотную фигурку, на перекатывающиеся желваки, и который раз думает, что она бы уж рада вернуть время, когда у них не было ни кола, ни двора, и их мотало по приказу с места на место, но зато Иван мог быть все-таки веселым, даже играл в самодеятельности, и сынишка гордился, что его папа военный и ему

kozyряют солдаты, и она могла ждать, что у них все еще будет, как у людей, что она поступит в институт, Иван станет капитаном, потом майором, они вернутся в Москву, у них будет своя квартира, своя мебель — ведь разве можно, чтобы всю жизнь ничего своего, только приказ и устав, и офицерские жены, если хоть их, на счастье, встретишь в забытой богом дыре, и подполковник, который хмыкнул, услышав, что она ходила на *органный концерт*: «Этого я от Вас, Людмила Сергеевна, не ожидал» — что-то неприличное ему почудилось... Но вот уже давно исполнились желания: и Москва, и квартира, и сын кончает школу...

— Если бы я молчал, я бы им был хорош, — пронзительно говорит Иван Фомич и трогает жену за рукав. — Ты б видела, как он орал, когда я ему принес акт и рапорт — аж пузо тряслось. — Рожков возбуждается; по разговору всегда кажется, что он пьяный, хотя жена-то знает, что он редкостно мало пьет. — Думал, испугаюсь. Да если я прав согласно устава и инструкции...

И опять, распаясь, повторяет — не ей даже, кому-то в пространство — что он всегда разоблачал вредительство и будет разоблачать, что его жгли кулаки в риге и что армия не для того учила его идейной партийности, чтобы молчать.

5

А через день на службе Рожкова ставят в известность, что согласно закону о новом сокращении вооруженных сил он представлен на увольнение в запас. Он не сразу осознает случившееся, поначалу воспринимает это как одно из прочих безобразий, кричит, что правду все равно не скрыть, сразу же пишет письма в «Красную звезду», Начальнику тыла и самому Министру; и только проснувшись однажды по привычке в шесть часов и впервые начав надевать на новую работу не форму, а просторный, прохладно чужой штатский костюм, он начинает чувствовать, что случилась не простая перемена службы, а какой-то обрыв долгой, вошедшей в плоть и кровь привычной дороги — как если бы поезд с привычных ему рельсов пустили по шоссе. Он каждый раз спохватывается, когда по пути на работу нижние чины не приветствуют его, заново каждый раз вспоминает, что сам тоже никому не должен отдавать честь; и в самой этой новой службе на торговой базе, хоть и похожей на прежнюю интендантскую, ему не достает какого-то главного интереса, неосязаемого витамина, который только и делал жизнь жизнью. Он начинает ходить по различным приемным, пишет все новые письма, где к прежним обвинениям добавляет безобразия на своей новой службе. Вскоре приходит первый ответ, где повторяется, что он уволен в запас в соответствии с Законом от 15 января 1960 года о новом значительном... что ему назначена пенсия и обеспечено трудоустройство — все было верно, и впервые от этих слов он ощущает душную безнадежность, потому что на этот раз ему отвечало полное соответствие с Законом — он слишком понимает это слово.

У него становится совсем плохо с сердцем, мучают приступы стенокардии. Выписавшись из больницы, он заново начинает хождения по инстанциям. Его уже узнают, за ним тянется недобрая слава бузотера и склочника, а может, просто сумасшедшего, потому что каждый раз он начинает говорить о своем деле и хочет просить, чтобы ему дали хотя бы дослужить еще два года до выслуги, но всякий раз срывается и принимается кричать о машинах, которые он отказался списать, и почему не наказали виновных, хотя все факты подтверждались, и конечно, о кулаках, которые тоже его жгли в риге...

В бесконечных московских приемных Рожков понемногу знакомится с теми, кто понаприезжал в столицу со всех концов хлопотать о разных делах: ох, сколько же их, оказывается, ночевало здесь по вокзалам, котельным да милициям; встречались и такие же, как он сам, только их дела, оказывается, были еще похуже — он хоть имел специальность, годную на гражданке. Какая-то женщина из Сибири, с двумя угольно-чумазыми малышами, рассказывает Ивану Фомичу свою историю: как посадили ее в 47-м за торбу украденного колхозного зерна, как после амнистии вышла замуж, как муж выгнал ее из дома и в пьянке чуть не поубивал детей, как ей нигде не находилось ни работы, ни жилья, и в Москве ничего не может добиться. Он идет на прием вместе с ней, успевает наговорить моложавому человеку в кабинете язвительных слов про «слуг народа», которые забывают о тех, кто в нынешнем поколении будет жить при коммунизме, и которые получают партбилет, чтоб только занять высокий пост... Но на этот раз просьбу обещают удовлетворить; гордый, он ведет женщину с детьми к себе ночевать и вечером, торжествуя, наблюдает малышей — замороженных впервые увиденным телевизором, в подаренной одежде, розовощеких после ванны, где Людмила Сергеевна не без труда отмыла с них следы котельной.

Выпивают за окончательный успех дела.

— Вот смотри ж ты, — вслух удивляется Иван Фомич, — за других легче хлопотать. И на тебя иначе смотрят, и вообще...

Женщина опять принимается благодарить; он отвечает строго и торжественно:

— Ну что вы. Я тебе — как человек человеку друг, — (незаметно перескакивая на «ты»). — И потом, у меня самого горе, а когда узнаешь горе, и других начинаешь видеть. Раньше я на тебя, может, внимания бы не обратил.

— Даст бог, и у вас устроится.

— А почему же нет? Я не в Америке живу. Я теперь знаю что делать: дождусь машины Хрущева у Спасских ворот — меня одна шоферша научила, никак иначе не могла квартиру получить.

Рожков оживляется; непривычный к выпивке, он захмелел после второй же рюмки.

— Русский народ правду любит, — пронзительно и задушевно говорит он. — Вот я на Казанском вокзале спросил у цыганки: если, говорю, тебе квартиру дать на улице Горького — станешь там жить? Нет, говорит, там воздуха нет. Ясно? И если мне что пожелаешь предложат, но чтоб я отказался от своей партийной правды — я скажу: мне без этого воздуха нет.

Он обводит значительным взглядом всех сидящих за столом и, вдруг заметив на лице весь вечер молчавшего сына усмешку, взрывается:

— Вот — видишь? — звенит он, показывая гостю пальцем. Родной сын! смеется! Для него это слова. Спроси его — он и в комсомол не хочет вступить.

— А зачем мне это? — ломким баском отзывается тот.

— Вот — чувствуешь? — торжествует Рожков. — Да меня грозят из партии исключить — на новой службе — так, думаешь, я им партбилет отдам? У меня уже сулема приготовлена — вон, жена прячет.

— Я с ума сойду с твоей партийностью, — отчаянно пунцовеет Людмила Сергеевна; ей невыносимо стыдно оттого, что перед посторонней женщиной обнажается

каждодневная мука ее семьи; а та чувствует, что перед ней стыдятся, и ей самой от этого мучительно неловко. И лишь Иван Фомич, напротив, как будто доволен, что может излиться постороннему:

— Вот так родная семья настроена. Чувствуешь? И для сына я уже не авторитет. Вот, скажи ему, чтоб поступал в воен училище...

— Что я, с ума сошел? — дерзко хмыкает тот. — Получишь два просвета на погонах и двадцать пять лет беспросветной каторги.

— Да как у тебя язык поворачивается?! Отец всю жизнь отдавал Советской армии, не заботясь о личном благополучии...

— А! надоело мне это, — внезапно озлобившись, выпаливает сын. — Ну чего ты добился? Чего? Что тебя все сумасшедшим называют?

Он вскакивает и, не дожидаясь ответа, хлопает дверью; да Иван Фомич и не успевает ответить, он словно вдруг забывает, что хотел сказать, и у него начинается сердечный приступ. Обе женщины хлопчут над ним — ах, как им обеим не по себе!

7

Осенью Рожков получает письмо из Красноярска. «Я благодарная вам, — пишет женщина, — что вы не посмотрели, что я бедная и бывшая преступница, и приняли к себе в дом», — и сообщает, что ей дали жилплощадь, детей она устроила в интернат, сама работает штукатуром.

У него уже три таких письма из разных городов. Ей он отвечает 5 декабря телеграммой: «Поздравляю великим праздником советской конституции. Желаю успешно бороться, честно трудиться. Советую трудоустроиться на почетную стройку коммунизма».

Сам он по-прежнему ходит по приемным и пишет письма, но с каждым разом говорят с ним все неохотней, а иногда вовсе отказываются принимать. Он совсем измотался за этот год, заметно поседел, уже в самом начале разговора чувствует тяжелую головную боль и держится на одних снотворных.

И лишь 23 февраля он устраивает себе праздник. Он достает из шкафа и надевает парадную форму; стоя, в фуражке, при орденах и кортике, выслушивает приказ маршала. А потом он идет в форме по улицам, хотя не имеет на это права, и нижние чины приветствуют его, и он отдает честь, и чувствует себя в этот день вновь приобщившимся к армии.

А вечером его ждет подарок: радиокомитет в своем концерте в честь дня Советской армии исполняет по заявке из Красноярска «для чуткого советского человека Ивана Фомича Рожкова» его любимую песню «Хотят ли русские войны».

Он сидит у приемника, маленький, плотный, нахохлившийся, в полной форме, при орденах и кортике, сидит прямо, придерживая на колене фуражку, и лицо его кажется окаменелым в торжественной сосредоточенности. Он не плачет, он никогда не умел плакать, и только Людмила Сергеевна, сидя на стуле напротив, глядит на него и не отирает слез.